



ПИСАТЕЛИ
ЧЕХОВСКОЙ
ПОРЫ

Игнатий Николаевич Потапенко

Секретарь его превосходительства



Игнатий Николаевич Потапенко — незаслуженно забытый русский писатель, человек необычной судьбы. Он послужил прототипом Тригорина в чеховской «Чайке». Однако в отличие от своего драматургического двойника Потапенко действительно обладал литературным талантом. Наиболее яркие его произведения посвящены жизни приходского духовенства, — жизни, знакомой писателю не понаслышке. Его ге-

рой — незаметные отцы-подвижники, с сердцами, пламенно горящими любовью к Богу, и задавленные нуждой сельские батюшки на отдаленных приходах, лукавые карьеристы и уморительные простаки... Повести и рассказы И.Н.Потапенко трогают читателя своей искренней, доверительной интонацией. Они полны то искрометного юмора, то глубокого сострадания, а то и горькой иронии.

Произведения Игнатия Потапенко (1856–1929), русского прозаика и драматурга, одного из самых популярных писателей 1890-х годов, печатались почти во всех ежемесячных и еженедельных журналах своего времени и всегда отличались яркой талантливостью исполнения. А мягкость тона писателя, изысканность и увлекательность сюжетов его книг очень быстро сделали Игнатия Потапенко любимцем читателей.

Содержание

I.....	.0006
II.....	.0028
III.....	.0046
IV.....	.0081
VI.....	.0098
VII.....	.0112
КОММЕНТАРИИ.....	.0127

**Игнатий Николаевич
Потапенко
Секретарь его
превосходительства**

— Так вот-с, видите ли, почтеннейший Владимир Сергеич, — все эти разрозненные сведения, заключенные в бесчисленные обложки и запечатленные внушительными нумерами, надобно собрать, систематизировать, рассортировать и обработать. Я должен вам сказать, что, благодаря неусыпной энергии и замечательному искусству Антона Петровича, мы уже половину дела сделали. Самое трудное тут было — проложить путь, и этот путь проложен. Ах, вы не можете себе представить, до какой степени я был беспомощен до появления на моем горизонте Антона Петровича! А впрочем, говоря по совести и, конечно, *entre nous* [1], все это глубочайшая ерунда и до тошноты надоело мне...

Говоря это, мой патрон с необычайною нервностью вертелся на своем дубовом кресле, спинка которого была слишком низка, а перила слишком высоки. Было очевидно, что в кресле этом он чувствовал себя крайне неудобно. Его маленькие ножки висели, не доставая до полу, и напрасно искали опоры;

локтям было слишком высоко опираться на перила. Я старался слушать его внимательно, но это мне мало удавалось. Это уже был пятый день, что я привыкал к нему, и никак не мог привыкнуть. Этот маленький человечек, немного раздавшийся вширь, с небольшим брюшком, походившим скорее на опухоль, с лицом землистого цвета, с жиденькой бело-брысой козлиной бородкой и ничтожными усиками, с умными блестящими быстрыми глазами, с большим лбом и с густыми волосами, падавшими на лоб, был для меня сфинксом. Когда он длинно и основательно говорил о «разработке материала», для которой, собственно, я был призван, мне всегда казалось, что он шутит или потешается над каким-то третьим, отсутствующим лицом. На этот раз, как и всегда, его серьезная речь сопровождалась саркастической улыбкой, а к оберткам «дел» он прикасался двумя пальцами с такой гадливостью, словно под этими обертками скрывались не «сведения о числе заседаний чертопультской городской думы в 187* году», а целое гнездо грязных насекомых.

Мы сидели с ним уже часа два. Я почти все

время молчал, ограничиваясь только репликами. Зато он говорил без конца. По крайней мере, двадцать раз он начинал говорить о «разработке материала», но сейчас же сбивался на жалобу, что ему это надоело, и хватался за голову, которую непрерывно мучила мигрень.

— Ах, с каким наслаждением я все это бросил бы, нет, не бросил бы, а швырнул бы и умчался куда-нибудь на лоно природы, на зеленую травку, где бродят овцы, коровы, лошади, свиньи и нет ни коллежских, ни статских, ни тайных советников... о!.. — И он действительно швырял в сторону несколько подвернувшихся ему оберток, соскакивал с своего высокого кресла и начинал бегать по комнате. Он подбегал к огромному шкафу и порывисто раскрывал настежь обе дверцы.

— Знаете ли вы, сколько здесь книг и что это за книги? Пятнадцать лет я самым тщательнейшим образом собираю эти сокровища, я люблю их — и можете себе представить, что за пятнадцать лет я не прочитал ни одной из этих книг! Как вам это нравится?

— Да-с, — продолжал он после молча-

ния, — так мы остановились на мещанах города Псовска. Надо вам знать... — Он опять забирался в кресло и опять теребил какое-нибудь занумерованное дело. Но теребил он его совершенно напрасно, потому что больше двух минут ему не удавалось говорить о деле. Вот он уже рассказывал мне анекдот о каком-то сенаторе, который, по престарелости своей, не мог взобраться в зал заседаний, и его несли по лестнице секретари. И он от души смеялся своему анекдоту, но вдруг прерывал смех и торопливо хватался за бумаги, извинялся и опять начинал историю о псовских мещанах.

Горничная принесла свечи и чай.

— Батюшки, как уже поздно! — спохватился мой хозяин, — а мы еще ровно ни до чего не договорились. Но, я думаю, вы уже понимаете, в чем дело!..

Я понимал это довольно смутно. Антон Петрович Куницын, тот самый, который «направил дело на путь» и вывел моего патрона из беспомощного состояния, сказал мне просто, что есть работа и что у этой работы есть два преимущества перед всеми другими: пер-

вое — она отлично оплачивается, второе — она ни к чему не приведет и, вероятно, никогда не кончится.

— Тут дело вот в чем, — пояснил мне еще Куницын, — в некотором году и в некотором месте некий сановник произвел ревизию и привез оттуда в Петербург три вагона материала. Вот эти-то три вагона и предназначены для того, чтобы прокормить вас более или менее продолжительное время.

Одним словом, рекомендуя меня, Куницын руководствовался не пригодностью моей особы для дела, а единственно желанием дать мне, своему приятелю, корм.

Знакомство мое с Николаем Алексеевичем Погонкиным, моим теперешним патроном, состоялось у Здыбаевских, у которых я бывал, правда, не часто, но все-таки это было странно, что я ни разу не встретил там Погонкина и даже ничего не слышал о нем. Это показалось мне еще более странным, когда я узнал, что он давний и близкий знакомый Здыбаевских, что старик Федор Михайлович знал его чуть ли не с пеленок. Объяснилось это очень просто: Николай Алексеевич был до того зава-

лен работой, что выражение «дышать некогда», которое он любил употреблять, шло к нему почти буквально. Все, что он делал, было ему противно; для всего же того, что ему хотелось делать, у него не было времени.

В тот момент, когда Николай Алексеевич в двадцать первый раз взобрался в кресло с самым серьезным намерением объяснить мне наконец, в чем дело, в передней раздался звонок. Погонкин нервно подскочил на месте и затем откинулся на спинку кресла.

— Всегда так, всегда! Чуть займешься серьезно, какая-нибудь деловая рожа ввалится к тебе!..

Но через минуту он уже сиял и торопливо выбирался из-за стола навстречу гостю.

— Антон Петрович! Голубчик! Вас, именно вас нам надо! Без вас мы как без рук! — радостно восклицал он, делая вид, что раскрывает гостю объятия. Но дело ограничилось простым рукопожатием.

Антон Петрович вошел, остановился на пороге и прищурил глаза. Поздоровавшись с хозяином и со мной, он снял очки и стал вытирать их носовым платком. К необычайной

приветливости Николая Алексеевича он отнесся довольно сдержанно и даже как будто надменно.

Он представлял полную противоположность Погонкину. Очень высокого роста, тонкий и прямой, в изящно сидевшей коричневой коротенькой жакетке, в светлом галстуке, в безукоризненно белом высоком воротничке, он производил впечатление человека, любящего пофрантить, но в то же время солидного, не допускающего в своем костюме ничего вульгарного. Лицо его, несколько поношенное, с большим лбом и красивыми глазами, носило следы регулярной работы парикмахера. Но опять-таки и в этой статье Куницын не допускал излишеств. Бородка неопределенного цвета была подстрижена *a la Henri IV*, небольшие усики были завиты щипцами, щеки выбриты. Негустые и недлинные волосы зачесывались вверх без определенного фасона. На приветствие Николая Алексеевича Куницын кисло улыбнулся и сказал басом, внушительно протягивая слова:

— Всегда готов служить вам, любезнейший Николай Алексеевич! Но, к сожалению...

— Что такое — к сожалению? Нет, уж пожалуйста, голубчик, без всякого сожаления! Готовы, говорите, служить — вот и прекрасно.

— К сожалению, я не могу теперь посвящать вам столько времени, сколько посвящал до сих пор. Даже, если вам угодно знать, я расположен совсем отказаться.

— Антон Петрович! Антон Петрович!..

И на лице Погонкина изобразился неподдельный ужас.

— Антон Петрович! — еще раз возгласил он, — за что же вы хотите погубить меня? За что?

Николай Алексеевич произнес эту фразу с такой искренностью и при этом лицо его приняло такое жалобное выражение, что мне сделалось неловко. Но Куницына это нисколько не тронуло. Он продолжал тем же строгим басом, отчеканивая каждое слово:

— Да-с, поставлен в необходимость погубить вас, Николай Алексеевич. Вам известно, что я два месяца тому назад сделался кандидатом юридических наук. В настоящее время я имел честь вступить в сословие адвокатов и

намерен серьезно заняться своей карьерой. Вы должны понять, Николай Алексеевич, что я имею право предпочесть живое дело адвокатуры бесплодному общению с господами псовскими мещанами.

Антон Петрович не говорил, а упражнялся в красноречии. Он и смотрел при этом, и жестикулировал таким образом, словно перед ним были не я с Погонкиным, а господа судьи и господа присяжные заседатели. Но для Николая Алексеевича он оказался не добрым защитником, а безжалостным прокурором. Мой патрон ходил по комнате, заложив руки за спину и поникнув головой.

— Да, все это так... Конечно, конечно! С какой стати вам жертвовать собой? Но согласитесь, что мое положение дурацкое. Ведь, говоря по совести, я ни бельмеса не смыслю в этом деле; я полагаю, против этого вы не станете возражать?

— Против этого я действительно не стану возражать!.. — категорическим тоном отозвался Куницын.

— Ну-с, так как же мне быть? Вы, по крайней мере, не откажите мне в совете! Нельзя

же так взять да и бросить человека в беспомощном состоянии на произвол судьбы!

— Что касается советов, то я готов дать вам их сколько угодно, ибо это — моя профессия! — шутя сказал Куницын. — Но я не понимаю, зачем вам так беспокоиться, когда у вас есть такой мастер на все руки, как Владимир Сергеич!..

Я до сих пор слушал этот диалог как любопытствующее третье лицо, но так как теперь речь зашла обо мне, то я подтянулся и приготовился вступить в разговор.

— Я глубоко уважаю Владимира Сергеича, — сказал Погонкин с изысканно-любезной улыбкой в мою сторону, — но, говоря по совести, мы оба вместе понимаем в этом деле меньше, чем ваш мизинец!

— Гм... Я давно знаю, что сенатские чиновники очень любезные люди! — заметил Антон Петрович. — Но если даже и признать справедливость вашего замечания, то дело все-таки не так безнадежно, как вы думаете. Надо помнить, что вы имеете дело с Владимиром Сергеичем, а нет такого дела, к которому Владимир Сергеич не приспособился бы са-

мым блестящим образом. Если обстоятельства заставят его переплестать книги, могу вас уверить, что через три дня он будет превосходным переплетчиком. Если бы он был поставлен в необходимость во что бы то ни стало писать стихи, поверьте, что его хорей и дактили нисколько не уступали бы пушкинским, Я даже думаю, что если бы ему сказали: вы должны играть в оркестре на тромбоне, то он, никогда не бравший в руки тромбона, стал бы играть на этом инструменте и дела не портил бы. Владимир Сергеич — это гений приспособляемости. Можете быть уверены, что ежели он возьмется за вашу пресловутую статистику, то через неделю заткнет за пояс и вас, и меня.

Решительно Куницын был рожден адвокатом. Что касается меня, то я должен был сделать какое-нибудь замечание, которое смягчило бы его рекламу. Отчасти он был прав. Я действительно обладал способностью приспособляться к самым разнообразным занятиям, очень скоро усваивая их сущность. Случалось мне и стихи писать, и книги переплестать (на трубе играть не пробовал), но все это было,

разумеется, далеко от совершенства. Мало ли с чем ни приходится возиться человеку без определенных занятий, желающему во что бы то ни стало наслаждаться преимуществами Петербурга. Я сказал:

— Всему этому можно было бы поверить, если бы не было известно, что вы мой давний приятель!..

Но Николай Алексеич поверил. Он уже стоял передо мной и смотрел на меня умоляющим взглядом.

— Владимир Сергеич! Я надеюсь на вас, как на каменную гору! — трогательным голосом сказал он, взял мою руку и сильно потряс ее. Я ответил, что приложу все старания. Николай Алексеевич мгновенно успокоился и уже беззаботным тоном рассказал какой-то путевой анекдот. Он ездил вместе с сановником на ревизию, и в голове его был неистощимый запас провинциальных курьезов, которые служили дополнением к трем вагонам материалов. Таким образом, я, еще не разобравший хорошенько, в чем дело, получил звание руководителя неизвестной мне разработки неведомого мне материала.

Николай Алексеевич разошелся и расчувствовался. Он трогательно говорил о наслаждении, какое испытывает в беседе с живыми людьми — что редко выпадало на его долю, — о том, что за час такой беседы он охотно отдал бы всю свою чиновную карьеру; спрашивал, что нового в журналах, и объяснялся в любви к литературе. Любовь эта была безнадежна, потому что у него хватало времени лишь на то, чтобы разрезать новую книжку журнала и прочитать оглавление.

Вошел плотный, коренастый человек в сером парусиновом костюме, с великолепными рыжими баками, с густыми волосами, подстриженными ежом, и с выпуклыми крупными серыми глазами. Николай Алексеевич бросился в его сторону и зверски наскочил на него.

— Что вам нужно? Оставьте меня в покое!.. Дайте мне хоть немножко подышать!..

Вошедший нимало не смутился и сказал весьма почтительным голосом, тыча ему под самый нос какие-то бумажки:

— Тут счета, Николай Алекеенч. Кровельщик уже три дня ходит. Тараканцику за два

месяца следует.

— Вот-с, всегда так! — обратился к нам с жалобой Погонкин. — Стоит мне только на минуту забыться, как этот господин прилезет со своими тараканчиками!.. Это, господа, радости моей жизни... Ну-с, сколько тут?

Он вырвал счета из рук докладчика и швырнул их на стол, даже не заглянув в них.

— Кровельщику шестьдесят два рубля пятьдесят копеек, а тараканщику двенадцать рублей. — Погонкин подлетел к ящику стола, с грохотом выдвинул его, порылся, достал сто-рублевую бумажку и бросил ее рыжим бакенбардам.

— Только, пожалуйста, не забудьте принести сдачу, а то вы иногда забываете об этих пустяках...

— Мне странно слышать, Николай Алексеевич...

— Ладно. Чего ж вы торчите? Получили, ну, и убирайтесь!..

— Я еще хотел доложить, что дворник коломенского дома второй день пьянствует.

— Покорно вас благодарю. Кажется, это вы порекомендовали его?

— Прикажете прогнать его?

— Послушайте, Иван Иванович! Хотите доставить мне истинное удовольствие? Так прогоните, пожалуйста, не только этого пьяного дворника, а... ну, хоть и себя самого прогоните!..

Иван Иванович на это улыбнулся, как человек, привыкший к подобным выходкам своего начальника, и скромно вышел.

— Как? Разве вы и коломенским домом управляете? — спросил Куницын.

— Ах, голубчик, Антон Петрович! Я всем управляю, всем заведую, все делаю, на то я секретарь его превосходительства!.. Я не делаю только одного того, что мне хочется делать и что могло бы доставить мне удовольствие.

Это было сказано таким жалобным тоном, что Антон Петрович почел необходимым переменить разговор.

— Послушайте, Николай Алексеевич, вчера я был у Здыбаевских. Федор Михайлович обещал мне бутылку старого токайского вина, если я сегодня приведу вас к ним.

— Антон Петрович, вы знаете, что я бла-

женствую, когда бываю у этих прекрасных людей, но у меня целая куча дел. Целая куча, Антон Петрович!..

— Наплюйте на нее!..

— Да, легко сказать — наплюйте! Во вторник его превосходительство будет докладывать дело по ходатайству города Бруева о разрешении установить налог на каждую пару сапог, носимых обывателями. Я должен написать доклад. В среду его превосходительство читает в одном ученом обществе реферат о том, как «в старину живали деды веселей своих внучат»; [2] я должен составить этот реферат по источникам. Засим-с, я должен на этой неделе представить его превосходительству отчет по управлению его тремя домами, из коих один ремонтируется. Далее-с, я обязан рассмотреть переписку по покупке его превосходительством имения в Черниговской губернии — и отписаться; затем-с...

— И наконец, — перебил его Антон Петрович, — вы должны зажарить самого себя и собственноручно подать себя на обеденный стол его превосходительства, который скушает вас с особенным удовольствием!..

— Вот именно, именно!.. Вы это удивительно метко определили, Антон Петрович, удивительно метко!..

— Но, однако же, позвольте узнать, на кой вам все это черт?

— Я никогда не задавался этим вопросом!..

— Ах, Николай Алексеевич, наберитесь-ка храбрости, наплюйте сегодня на все эти доклады, отчеты и рефераты, оденьтесь, и поедьте к Здыбаевским!

Николай Алексеевич ходил по комнате мелкими и частыми шажками, очевидно, сильно взволнованный. Вдруг он подошел к стене у кровати и решительным движением крепко надавил пуговицу воздушного звонка. Через две секунды прибежала горничная.

— Одеваться мне и никого не принимать. Меня нет дома!.. — отрывисто приказал он. — Ну-с, Антон Петрович, я плюю, к вашему удовольствию. Надо, в самом деле, хоть чуточку пожить для себя. Ведь я же имею на это право!

— То-то и есть. Одобряю! — заметил Куницын.

Принесли черную пару. Николай Алексее-

вич с лихорадочною поспешностью снимал с себя домашний костюм и облачался в парадный, предварительно извинившись перед нами. Вот он уже натянул сюртук и ищет гребенку, чтобы причесаться.

— Я готов, господа, я сию минуту. Спасибо вам, Антон Петрович, за хорошую мысль... В самом деле, надо освежиться, проветриться. Ведь этак и вправду закиснешь, заплесневешь, отупеешь вконец. Эка важность — доклады, рефераты! Подождут ведь! Правда, Антон Петрович?

— Совершенная истина, Николай Алексеевич! — поощрительно сказал Куницын.

— Да и что, в самом деле?! Что за генеральство, черт возьми! — уже окончательно расходился наш хозяин. — Положим, я его секретарь и домоправитель, я получаю за это жалованье и квартиру, а также облегчение в прохождении чиновных ступеней. Отлично! Но я никогда не слышал, чтобы секретари писали ученые рефераты. Вы слышали когда-нибудь, Антон Петрович? А вы, Владимир Сергеич, слышали? Это значит быть ученым за своего патрона! Понимаете, я буду рыться по источ-

никам, а он с великой серьезностью прочтает о том, как «в старину живали деды веселей своих внучат», и ему будут аплодировать!.. Нет, я завтра же объявлю ему, что желаю точно придерживаться своих титулов: секретарь и домоправитель, и только. И никаких рефератов!.. Ну-с, господа, я готов и к вашим услугам!..

Он был чрезвычайно оживлен и подвижен, а черный сюртук, который был хорошо сшит и отлично сидел на нем, придавал ему некоторую торжественность. После того как за десять минут перед этим я видел его брюзгой — в широком костюме, в накрахмаленной сорочке, в мягких туфлях, он производил теперь приятное впечатление человека, после долгих колебаний на что-то решившегося. Это сознание радовало и воодушевляло и его самого, придавало здоровый румянец его щекам и блеск его глазам.

Он взял в руки шляпу; мы поднялись с своих мест.

— Знаете, я просто люблюсь вами, Николай Алексеевич! — сказал ему Куницын. — Вы совсем другой человек!

— Да ведь это и есть моя природа!.. Таков я всегда был во время оно. Едемте, господа, едемте!..

Мы все трое направились к дверям. Но едва мы сделали по три шага, как раздался пронзительный звон. Кто-то требовал Николая Алексеевича к телефону.

— Черт возьми! что им надо от меня? — раздраженно воскликнул Погонкин и подбежал к телефону. — Кто звонит? — сердито крикнул он и приложил трубочку к уху. Ему что-то ответили.

— Да, это я. А вы... вы... Ах, это вы, ваше превосходительство?! Мое почтение!..

Тон его мгновенно переменялся и сделался мягким и почтительным. Он приветливо улыбнулся, раза два кивнул головой, как бы кланяясь невидимому его превосходительству, и даже шаркнул ножкой. Антон Петрович подмигнул мне в его сторону: наблюдай, мол!

Николай Алексеевич опять послушал в трубочку.

— Да, да, я уже приступил к работе, ваше превосходительство, я изучаю источники!

Опять внимательное молчание.

— Завтра в семь часов вечера?

Молчание.

— Боюсь, что не успею, ваше превосходительство!

Продолжительное молчание, прерываемое отрывистыми и невнятными: «да, да!», «очень хорошо!», «разумеется!».

— Если вы настаиваете, то я, конечно, приложу все старания, буду работать всю ночь и на службу не поеду!.. Спокойной ночи, ваше превосходительство! — За этим последовал поклон и короткий звонок.

— Ну-с, вы кончили, Николай Алексеевич? Так едем! — оказал Куницын.

Николай Алексеевич молча два раза прошелся по комнате, потом остановился.

— Нет, господа, извините! Я не могу ехать. Я сейчас должен засесть за реферат. Он завтра хочет выслушать его и сделать свои замечания.

Все его оживление, вся энергия, выражавшаяся в его глазах, исчезли бесследно. Лицо сделалось желтым и дряблым. Не стало живого, умного, симпатичного человека; опять пе-

ред нами был секретарь его превосходительства.

— Не могу, господа, не могу! Извините! — еще раз повторил он. — Передайте, пожалуйста, мой сердечный привет добрейшему Федору Михайловичу, Елизавете Федоровне и Сереженьке!..

Мы молча пожали ему руку и вышли.

Ровно неделю я употребил на то, чтобы «овладеть предметом». На восьмой день я уже сидел в так называемой «канцелярии», с видом человека, съевшего собаку в статистике (так как это называлось у нас статистикой), и самым авторитетным тоном делал указания и вносил поправки в систему, выработанную Антоном Петровичем.

Может быть, с моей стороны это было немалым нахальством. Признаюсь, что никогда в жизни я не занимался статистикой. Я наскоро подчитал кое-что подходящее, по указанию Антона Петровича, бегло окинул взором шкапы с трехвагонным материалом, и в голове моей составилось нечто цельное, определенное и до невероятия смелое. Когда я изложил Николаю Алексеевичу «свою» систему, он остолбенел от изумления.

— Действительно, вы гений приспособляемости! — воскликнул он, выскочив из-за стола, за которым он сидел в своем неизменном дубовом кресле. — Знаете что? Я совершенно передаю вам это дело, совершенно. Делайте

что хотите, требуйте что нужно! Я только исполнитель ваших предначертаний и плательщик!

Такое необычайное доверие доказывало, что Погонкин был дилетант еще более глубокий, чем я, хотя это и трудно было представить. В моей системе его подкупила стройность и законченность, и он вообразил, что я в самом деле основательно изучил его три вагона и в то же время вооружился солидными знаниями по теории статистики. Ничего этого, разумеется, не могло быть. Все дело заключалось в особой способности моего ума — никогда ни в чем не терпеть пробелов. Когда я чего-нибудь не знаю, я замещаю пустое место чем-нибудь подходящим из того, что я знаю; когда я, благодаря недостаточной подготовке, чего-нибудь не понимаю, я его просто выбрасываю. Но в конце концов я так ловко и искусно сведу концы с концами, что получается нечто правдоподобное.

Я сделался полным хозяином «канцелярии». Это была очень длинная комната, все стены которой были превращены в шкапы, а полки этих шкапов были завалены «материа-

лом» в виде бесконечного множества «дел», «сведений», «записок», «ведомостей» и т. п. Во всю длину комнаты посредине ее тянулся стол, покрытый зеленой клеенкой; на столе лежали в несметном количестве письменные принадлежности: чернильницы, ручки, перья, карандаши, кипы бумаги, линейки, даже циркуля. Все это указывало на то, что моя скромная и тихая работа служит только преддверием к чему-то грандиозному, долженствующему поглотить всю эту массу «принадлежностей».

И действительно, когда я раскрывал шкапы, из которых на меня внушительно смотрели необъятные горы бумажного материала, я чувствовал себя мизерным со всей своей стройной и законченной системой. Роясь одиноко в этой громаде, я походил на муху, мечтающую съесть сахарную голову.

«Канцелярия» сделалась моим храмом, а я — ее единственным посвященным жрецом. По крайней мере, вход в нее был доступен далеко не всякому смертному. Сам Николай Алексеевич, прежде чем войти в нее, стучался в дверь и спрашивал позволения. Феня, но-

сившая нам чай, чуть слышно отворяла дверь и входила на цыпочках. Единственный человек, пользовавшийся правом свободного входа сюда, это Иван Иваныч. Мало этого, он даже был хранителем ключей как от самой канцелярии, так от шкапов и от ящичков стола.

С Иваном Иванычем я познакомился при довольно торжественной обстановке. Это было еще в период созревания моей системы, когда я ходил по канцелярии и с недоумением посматривал на грандиозные шкафы, решительно не зная, что я буду делать с их содержимым. В одну из минут моей глубокой задумчивости вошел Николай Алексеевич, а вслед за ним почтительно и сдержанно вступил Иван Иваныч.

— Вот-с, Владимир Сергеевич, позвольте вам представить этого человека! — сказал Николай Алексеевич. — Это Иван Иваныч, который все знает и все может. Ему достоверно известно, где, в какой именно щелочке лежит такая-то ведомость; его голова — справочный ящик по этой части и по всякой другой части! Он весь к вашим услугам!

Я пожал увесистую и потную руку Ивана

Иваныча, фамилию которого, вероятно, считали несущественной для дела и поэтому совсем не назвали ее. Он для первого знакомства не сказал ни слова, держался вообще мешковато и стесненно и скоро исчез. Сейчас же по уходе его Николай Алексеевич прибавил мне конфиденциально:

— С ним надо вести себя осторожно. Жулик первой руки!

Хотя эта вторая рекомендация явно противоречила первой, но я не возбуждал об этом вопроса.

Через четверть часа Иван Иваныч вернулся. Он был в своеобразном костюме: в синей рубашке навыпуск, подпоясанной ремнем, а поверх покрытой серым пиджаком.

— Может быть, желаете ознакомиться, где что лежит? — почтительно спросил он меня. Я пожелал. Он вынул из кармана связку ключей и отпер поочередно все шкапы.

— Вот здесь покоятся мещане! — сказал он без всякой иронии. — Его превосходительство очень много привезли мещанского материала, потому в этих паршивых городах почти никого и нет, кроме мещан. Вот тут — каса-

тельно городских дум. Здесь — насчет сиротских судов. Большею частью я собственноручно принимал все дела и в реестр вносил; потому и знаю хорошо.

— Как? Разве и вы ездили на ревизию?

— А как же? При его превосходительстве состояли — Николай Алексеевич и я... Но, собственно, большею частью я-то и производил ревизию. Зайдешь, бывало, в какую-нибудь ремесленную управу в городе Неплюйске, и сейчас? покажите то, покажите другое. Так тебе все и вываливают. Я вам скажу: ежели б кто захотел, заработать мог бы на всю жизнь! Мне, например, дают дела сиротского суда (его превосходительство приказали всюду снимать для нас копии со всех дел). Вижу я — озаглавлено: «Об опеке над имуществом такой-то умалишенной». Уж можете быть покойны, что тут дело нечисто. Сейчас вы: пожалуйста подлинное для сверки. Вот тут-то и есть самый момент. Подлинное-то на копию даже вовсе не похоже... На этом можно было сильно заработать...

Я не решился по первому знакомству спросить, заработал ли он на этом. Но надо ду-

мать, что это было так, потому что очень уж он уверенно говорил об этом. Не успели мы с ним хорошенько разговориться, как зычный звонок, проведенный сюда из кабинета Николая Алексеевича, отнял у меня собеседника. Иван Иваныч сделал ужасную гримасу и закрыл уши.

— Можете себе представить, что я каждые пять минут слышу этот звонок, и не только наяву, а даже во сне! — с досадой промолвил Иван Иваныч и помчался в кабинет.

Действительно, звонки Николая Алексеевича преследовали его на каждом шагу. Они как бы следили за ним, шпионили и ловили его. Звонки из кабинета Погонкина были проведены всюду, как во все комнаты его собственной квартиры, так и в квартиру Ивана Иваныча. Через две минуты Иван Иваныч вернулся.

— Извольте видеть, он никак не мог припомнить, какого числа нанят дворник Яков, так я должен был бежать к нему и докладывать... — объяснил мне Иван Иваныч, — Пове-рите ли, от этих звонков мне житья нет. Вот это он сидит, корпит над бумагой, вдруг ему

придет в голову: сколько я заплатил извозчику, который вчера привез его со службы? Сейчас подбегает к стене, а в стене у него, может вы заметили, целая дюжина кнопок. Придавит одну — нет, другую — нет, третью, четвертую, хоть все двенадцать: которая-нибудь таки меня где-нибудь отыщет. Знаете, иной раз он до того запишется в каком-нибудь докладе, что уже сам не знает, что говорит. Один раз он этак позвал меня звонком — я прибег. Вижу, стоит посреди комнаты и лоб трет. «Что прикажете, Николай Алексеевич?» — «Ах, говорит, Иван Иваныч, не помните ли вы, что я такое сейчас думал? Что-то очень важное, а припомнить не могу!» Можете себе представить?! Я посмотрел на него и думаю: надо что-нибудь сказать; и говорю: «Вм, говорю, Николай Алексеевич, ни о чем не думали, это вам показалось». Ну, рассмеялись оба.

Иван Иваныч с каждой минутой все делался словоохотливее. Он уже понизил голос, раз-два оглянулоя на дверь и придвинулся ко мне поближе. Из этого я заключил, что сообщения его будут конфиденциальны.

— И из-за чего человек мучается? Просто

невозможно понять! Возьмите вы это: одинокий, жалованья по службе получает до трех тысяч; кажись бы, жить бы только в свое удовольствие. А он, подите вы! Его превосходительство, Константин Александрович, прямо вам скажу, кровь из него высасывает. Ведь он ему все делает, все как есть, а тот сидит себе в своих палатах, балы задает, чины да ордена получает. Чего ради, я вас спрашиваю? День и ночь, день и ночь на него работает... А за это получает квартиру, да сто рублей в месяц деньгами, да меня на придачу...

Его опять потревожил звонок. На этот раз он сидел в кабинете дольше, а вернувшись, объяснил, что там неизвестно куда запропастилось какое-то «дело» и он искал его под столом и под диваном.

— А его превосходительство богат как жид, — продолжал он прежним конфиденциальным тоном. — Три дома у него здесь, да два имения, одно в Московской, другое в Новгородской, с лесами, с охотой.

— А вы у него служите? — спросил я, желая уяснить себе роль этого человека.

— Я был у него сначала по письменной ча-

сти, потому как я из военных писарей и почерк хороший имею... Ну, а потом дан Николаю Алексеевичу как бы в помощники. И уж тут я и сам не разберу, что я такое. Прямо на все руки. Один раз дворник запьянствовал, так меня целых двадцать часов дворницкую службу нести заставили.

Получив эти важные сообщения, я уже несколько яснее представлял себе отношения, связывавшие Николая Алексеевича, Ивана Иваныча и его превосходительство.

Я выбрал ближайшее воскресенье для того, чтобы поговорить с моим патроном о деле. Мне нужно было выхлопотать себе помощника, отчасти потому, что в самом деле одному нельзя было справиться с таким обширным делом, да и потому еще, что у меня был приятель, тоже человек без определенных занятий, а в данное время даже без всяких занятий.

Я пошел с утра, рассчитывая, что в праздничное утро застану моего патрона свободным.

Но когда я вошел в кабинет, я встретил там целую толпу народа. Это были рабочие по ре-

монту дома его превосходительства. Николай Алексеевич производил им расчет. С каждым он вел особые переговоры, читал нотацию за небрежность, пытался оштрафовать, сделать вычет, выслушивал возражения и платил. Каждую минуту он раздражался, вскакивал с места, швырял счета, вскрикивал, брался за голову и просил всех провалиться сквозь землю. Но рабочие не обращали на это внимания и тянули свою линию.

— А, вот это для вас еще новость! — обратился он ко мне, пожимая мою руку. — Это устроено собственно с той целью, чтобы свести меня с ума. Понимаете, я говорил, я доказывал его превосходительству, я настаивал, чтобы производить ремонт подрядным способом. Тогда я знал бы одного подрядчика. Так нет, изволили не согласиться, а теперь я должен возиться с каждым рабочим. Знаете, я, кажется, все это брошу, ей-богу брошу! — Это была угроза, которую я от него слышал каждый день по всевозможным поводам, а Иван Иваныч слышал ее уже пять лет. Разумеется, ей не суждено было осуществиться.

Рабочие рассчитывались до двенадцати

часов. Тут сказали, что подан завтрак; мы вышли в столовую. Но завтракать пришлось мне одному. Едва Николай Алексеевич взял в руки нож и вилку и прицелился резать бифштекс, как пришел жилец из коломенского дома с жалобой на старшего дворника, который выдает мало дров, потому что ворует их себе. Погонкин принялся разбирать жалобу, причем предварительно пустил во все концы звонки для того, чтобы изловить Ивана Иваныча, который должен был оказаться во всем виноватым.

— Ах, голубчик, извините, я вас оставил одного! — воскликнул он, с отвращением разрезывая совершенно застывшее мясо. Сколько я заметил, он никогда не ел ни одного кушанья в надлежащем виде. Все перестаивалось и приобретало отталкивающий вид, в ожидании, пока он покончит с каким-нибудь внезапно нагрянувшим делом. — Ну, расскажите-ка, что делается на белом свете? Я уже ровно две недели не читаю газет. Этот ремонт отнимает у меня остаток моего времени.

Я сообщил ему, что вчера был в концерте и слышал Девятую симфонию Бетховена.

— Боже мой! — с искренним чувством проговорил он, — а ведь я мечтал об этой симфонии! Неужели это было вчера? У меня и билет есть, я за две недели купил его, но совершенно выпустил из виду! — Он начал говорить о музыке. Оказалось, что он страстный любитель ее, но живет по этой части одними воспоминаниями. Пятнадцать лет тому назад, когда он был еще студентом, он, по его выражению, «дневал и ночевал» «в коробке» Большого театра, слушая итальянских знаменитостей. Он слышал Патти[3], но не выносил ее за ее холодность и деревянность.

— Мне ее напоминает вот этот противный бифштекс, в котором столько же чувства, сколько у нее, — говорил он.

Шедевром оперной музыки он считал квартет из «Риголетто»[4], и когда он сообщал мне об этом, то старался изобразить кое-что из партии Джильды. Высшим произведением симфонического жанра он считал Девятую симфонию Бетховена, ту самую, на которую он вчера не попал. В течение двенадцати лет он всего два раза нашел время сходить в оперу, причем оба раза попал на Вагнера и был

ужасно недоволен, потому что не слышал ничего похожего на квартет из «Риголетто». Но в его сердце всегда оставался уголок, отведенный музыке, и любовь свою к ней он выражал тем, что покупая через Ивана Ивановича билеты на все выдающиеся концерты, обязательно абонировался на симфонические собрания и никогда никуда не ходил.

— Знаете, это что-то роковое! — воскликнул он. — В день концерта, в самый момент, когда надо ехать в театр, непременно свалится на мою голову какое-нибудь спешное, неотложное дело, и я остаюсь... Иногда прямо плакать хочется, а ничего не поделаешь!..

Был уже третий час. Я, наконец, нашел необходимым заговорить с ним о деле.

— У меня есть к вам дело, Николай Алексеевич! — перебил я его почти в самом разгаре музыкальных восторгов.

Он с шутливым негодованием положил в тарелку вилку и нож и укоризненно качал головой.

— Владимир Сергеич! И у вас, как погляжу, нет жалости ко мне! Ну, что вам стоит хоть в воскресенье поболтать со мной о том, о сем, о

чем угодно, только не о деле?!

Я смутился.

— Извольте, Николай Алексеевич, я готов забыть о своем деле!.. Давайте болтать!..

— Нет, нет, пожалуйста! Все равно, от дела в том или другом виде мне не уйти. Все равно, Иван Иваныч придет, телефон прозвонит, тараканщик прилезет, ремонт, дворник, доклад, реферат et cetera, et cetera [5]. Говорите, пожалуйста! Я весь, весь к вашим услугам!..

— Мне нужен помощник! Одному мне не сдвинуть эту гору! — заявил я.

— Гм... Помощник?!

К моему удивлению, Николай Алексеевич, несмотря на всю свою необычайную предупредительность, не поспешил выразить согласие. Он оттопырил нижнюю губу и забарабанил пальцами по столу.

— Помощник! Гм!.. Я вполне разделяю это, вполне! — Но и разделяя это вполне, он продолжал обнаруживать нерешительность.

— Вы встречаете препятствия? — спросил я.

— Как вам сказать? Препятствия особого рода. Надо вам знать, что его превосходитель-

ство страшно туг на всякий новый расход.

— Неужели? Такой богач!

— Да, представьте себе! Он не скуп, живет широко, тратит огромные деньги на приемы и всякие развлечения... Но он глубоко убежден, что это моя обязанность и что все это я должен делать один...

— Как? И это еще? Да когда же?

— О, он об этом не думает... Секретарь — значит, должен делать все. Вы не можете себе представить, каких усилий мне стоило выхлопотать себе одного помощника в лице Антона Петровича, а потом вас! Это, говорит, роскошь; вы, говорит, разбаловались, жиреть начинаете... Каково? Но во всяком случае я на этом настою и почти обещаю вам помощника. У него есть одно больное место, на которое я в таких случаях и действую, как опытный психолог.

Я не спрашивал, но Николай Алексеевич почувствовал потребность поделиться со мной своим секретом.

— Это, конечно, между нами. Надо вам знать, что в то время, как мы с его превосходительством производили ревизию в одних

губерниях, другое его превосходительство занималось тем же в других губерниях. Мы привезли три вагона плодов нашей деятельности и думали, что больше уже никому не привезти; а они, можете себе представить, взяли да целых четыре привалили. Ну, понимаете, нам стало досадно. Где ж таки! То его превосходительство живет чуть ли не одним жалованьем, а мы почти что миллионеры. Мы желаем, чтобы о нас говорили больше, чем о ком бы то ни было другом. Посему мы постановили: перецеголять другое его превосходительство разработкой материала. Мы должны накатать тьму-тьмущую разных ведомостей и составить отчетище, в котором цифры сидели бы одна на другой, смелые выводы били бы в нос, а главное, чтобы книга была толстая-пре-толстая, чтоб ее никогда нельзя было дочитать до конца. В книге этой наш его превосходительство будет все говорить: «я полагаю», «я пришел к заключению», «я вычислил» и т. п., а другое его превосходительство об этой готовящейся грозе не подозревает и поэтому даст кратенький и жиденский отчетец. Вот мы и победили!..

Все это он излагал с неподражаемым юмором. Никак нельзя было подумать, что он говорит о том деле, в котором сам играл столь видную роль. Я осведомился, куда пойдут эти отчеты.

— Как куда? А в комиссию! Есть такая особая комиссия, которая действует уже четыре года и никак ни к чему не может прийти. Два года назад она выработала «основные положения»; прочитали, просмотрели, обсудили; положения оказались слишком либеральными. Тогда комиссия опять засела и принялась выработать сначала. Но беда: хватила через край! Ее новые «положения» оказались чересчур уж консервативными, Теперь она вновь засела и ищет середины... Так вот эту комиссию мы и хотим поразить своим отчетом!.. Ну-с, я и скажу его превосходительству, что ежели он будет жалеть денег для работников, то другое его превосходительство, чего доброго, и отчетом перещеголяет нас! А это для него все равно что нож в сердце!..

Я ушел с надеждой, что соперничество двух их превосходительств доставит корм моему приятелю.

Его превосходительство разрешил мне взять помощника. Поэтому вот уже около месяца я сидел в канцелярии не один, а с моим приятелем и сожителем, Кириллом Семенычем Рапидовым. Иван Иваныч по-прежнему забегал к нам, рассказывал анекдоты про ревизию, про его превосходительство, в особенности ядовито изображал своего ближайшего патрона, Николая Алексеевича, который мстил ему тем, что каждые две минуты отравлял его покой звонком. Работали мы мирно и не спеша, обрабатывая деятельность городских общественных управлений в городах двух отдаленных губерний. Выбор материала всецело принадлежал Ивану Иванычу, единственному человеку, который знал, где что лежит в этой необъятной куче. Вместо какой бы то ни было описи в наше распоряжение была предоставлена его голова. По мере надобности он подкладывал нам «дела», а мы извлекали из них цифры. Метод наш был довольно прост и несложен. Мы забирались в город Неплюйск и смотрели, сколько в нем

гласных[6]. В Неплюйске их было тридцать. Тогда мы начинали разделявать эту цифру на все корки. Мы делили их на мещан, дворян, купцов и прочие сословия и вычисляли процентное отношение их между собою. Главное тут было, чтобы вышло сто, в этом была вся забота, и мой приятель и помощник, Рапидов, сначала никак не мог приспособиться к этому условию.

— Вольдемар, тут, брат, не выходит ста, а только девяносто семь! — тревожно сообщал он мне. Он почему-то сделал привычку называть меня не иначе как Вольдемаром, хотя это вовсе было не к лицу ни мне, ни ему.

Я просматривал его выкладки а убеждался, что сто не выходит по весьма законной причине: не хватает одного гласного. Всех-то их тридцать, а по сословиям набирается всего 29. Другой на моем месте почувствовал бы себя в затруднительном положении, но я, в качестве гения приспособляемости, сейчас же нашелся,

— Всади куда-нибудь еще одного гласного! — рекомендовал я.

— Куда же? В мещане, дворяне, купцы или

прочие сословия? — спрашивал Рапидов, который очень был еще далек от постижения моей системы.

— А ты погадай на пальцах!

— Как на пальцах?

— А так, как обыкновенно гадают. Указательный перст правой руки поверти вокруг такового же левой, потом разведи их, закрой глаза и сомкни.

— Что же это будет за статистика? — недоумевал Рапидов, который вообще смотрел на вещи ужасно серьезно.

— Что делать! Там, где Иван Иваныч не дал точных сведений, надо прибегать к услугам судьбы. Вот погадай — и увидишь, что непременно что-нибудь выйдет.

Рапидов гадал. Сначала на дворян — пальцы разошлись, потом на мещан тоже, на купцов пальцы благополучно встретились.

— Ну, следовательно, сей недостающий гласный был купец!

Рапидов записывал его в купцы и, таким образом, добивался желанных ста процентов. Бывали случаи, что гласные исчезали не по одиночке, а целой полдюжиной. Тут мой по-

мощник делал протестующее лицо и никак не соглашался решить судьбу такой большой компании при посредстве пальцев. В этих случаях я принимал меры строгости.

— Прошу не забывать, что ты не более как мой помощник! — строго внушал я Рапидову, — и обязан подчиняться всем моим предначертаниям. Надо быть последовательным. Все гласные пользуются одинаковыми правами. Если можно решить судьбу одного при посредстве указательных пальцев, то почему это не годится для полдюжины!

Рапидов упорствовал; тогда я пускал в дело свои собственные указательные пальцы и доставлял ему сто процентов.

Мой ум, ставящий на первом плане округленность, законченность и чистоту отделки, не выносил каких бы то ни было недомолвок и пробелов. Поэтому я совсем не признавал «ведомостей», выработанных моим предшественником, Антоном Петровичем Куницыным. Он точно придерживался источников, и у него на каждом шагу во всю ширину ведомости стояли позорные надписи: «сведения неточны». Я этого решительно не мог допу-

стить. С одной стороны, это могло бы бросить тень на лицо, которое производило ревизию. Помилуйте, сведения неточны! Зачем не разыскали точных? С другой стороны, на основании неточных сведений нельзя было сделать никаких общих выводов. Кроме того, мне было известно, что в «делах», служивших нам материалом, всецело отразился пытливый дух Ивана Ивановича, и я был совершенно уверен, что то, что давалось в этом материале как точное, было столь же достоверно, как и результаты наших гаданий при посредстве указательных пальцев. Наконец, — и это чуть ли не самое главное, — это было некрасиво и, может быть, даже неприлично. Какая же это статистика, которая основана на неточных сведениях? Поэтому у меня все было удивительно точно: «ведомости» щеголяли только цифрами, процентными отношениями, благополучно дававшими сотню, и средними величинами, которые тоже всегда составляли его.

Однажды к нам зашел Николай Алексеевич, а вместе с ним нам сделал честь родоначальник и основатель нашей статистики — Антон Петрович. Мы уже три месяца с Рапи-

довым гадали на пальцах и успели за это время приготовить бездну ведомостей. Что касается ведомостей Антона Петровича, то они у меня были наклеены на стене, на видном месте, как пример того, как не следует делать. Николай Алексеевич заглянул в наши работы и воскликнул в совершенном восторге:

— Ах, какая прелесть! Антон Петрович, взгляните! какая чистота, как все аккуратно сходится! Помните, как мы с вами не могли этого добиться?! Еще его превосходительство укорял меня: «Что это, говорит, у вас на каждом шагу сведения неточны? Нас, говорит, могут спросить, чего ж мы смотрели? Вы, говорит, пожалуйста, как-нибудь постарайтесь избежать этого!» Как вы этого достигли, Владимир Сергеич? Нет, вы решительно золото, а не человек!

Я, разумеется, принял похвалу без протеста, но не открыл своего секрета. Антон Петрович едко улыбнулся и шутя погладил меня по голове.

— Вам бы быть министром финансов! — сказал он.

Рапидов сидел с суровым лицом и молчал.

По-видимому, его подмывало рассказать, в чем дело, так как он в душе все еще жаждал «честной статистики»; но я посмотрел на него безапелляционным взглядом и сейчас же переменял разговор.

— Как ваша практика? — спросил я Куницына.

— Не так блестяща, как ваша! — с улыбкой промолвил он, — но в общем ничего, делаю успехи!..

Ядовитый человек был Антон Петрович Куницын. Впрочем, надо сказать, что ядовитость его была чисто адвокатская. В присутствии лиц посторонних он не признавал ни дружбы, ни родства, ни приятельства и не пропускал ни одного случая поразить человека и положить его в лоск. В этом случае он отдавал дань публичности и своему адвокатскому тщеславию. Но когда он оставался в интимном приятельском кружке, он становился просто милым, сердечным и добродушным человеком. Стоило только появиться новому лицу — все равно, был ли это человек его круга, или дама (о, в особенности дама!), или лакей в ресторане — он делался едким и беспо-

щадным.

Так случилось и теперь. Через минуту прибежал Иван Иваныч, вспотевший и запыхавшийся.

— Николай Алексеич! Во флигеле, во втором дворе, у Канючкина в квартире, лопнула труба и просачивается вода! — объявил он, и Николай Алексеевич, взявшись обеими руками за голову и произнеся несколько ругательств, впрочем совершенно приличных, по адресу Ивана Иваныча, пошел осматривать лопнувшую трубу. Антон Петрович мгновенно преобразился. Он начал хохотать самым искренним образом.

— Ну, знаете, ваша находчивость превзошла мои ожидания! — говорил он. — Вы только представьте, какие от сего могут произойти благодетельные последствия. Его превосходительство, придя в восторг оттого, что неточность совсем исчезла, лишних два раза пожмет руку Николая Алексеевича и отпустит ему столько же лишних и одобрительных улыбок; Николай Алексеевич вследствие этого, а именно чтобы оправдать высокое доверие, с удвоенной силой наляжет на докла-

ды и рефераты, а от всего этого, в конце концов, выиграет отечество!.. Хвала Вам, Владимир Сергеич!

Рапидов сказал мрачно:

— А ведь это тово... жульничеством называется!.. Ведь пойдет в комиссию, которая, основываясь на этом материале, решает государственный вопрос!..

Куницын посмотрел на моего сожителя сильно прищуренными глазами.

— Вам, Кирилл Семеныч, надобно сбрить бороду! — сказал он. — Она у вас слишком длинна!..

— Это почему?

— Потому что с столь длинной бородой никак невозможно согласовать столь детскую наивность. Впрочем, извините, мне никогда. Я надеюсь, что через три месяца вы скажете, что я был прав, — Он обратился ко мне: — Будьте сегодня у Здыбаевских; Николай Алексеич наконец решил выйти из берлоги!

Я обещал, так как мне вообще было приятно бывать в этом семействе.

Здесь мне надо сказать несколько слов о моем помощнике и сожителе. Когда я в пер-

вый раз привез его к Николаю Алексеевичу, я заметил очень странное явление. Мой патрон, обыкновенно рассыпавшийся в изысканных любезностях и без умолку болтавший во все промежутки между деловыми появлениями Ивана Иваныча, вдруг как-то съежился и замолк. После я узнал, что на него произвел удручающее впечатление внешний вид моего приятеля. У Рапидова была необычайно громоздкая фигура. Ростом он не был слишком высок, Антон Петрович был выше его на полголовы. Но когда они стояли рядом, последний совершенно ступшеывался перед первым. Все у этого человека было отменно крупное, начиная с головы, увенчанной косматой шевелюрой и высоким лбом, и кончая ногами-лапищами в длинных, стучащих сапогах; широчайшая спина, толстейшие руки, могущественнейшая грудь, бычачья шея — все это можно определить только при помощи превосходной степени. Лицо его несколько по отставало от прочих частей тела. Густые брови, почти сросшиеся в одну линию, висели над большими глазами, несколько ушедшими в глубь орбит, отчего взгляд их казался

еще более внушительным; нос правильный, ровный, как следует, нос, но словно видимый сквозь лупу; губы толстые, задрапированные густыми темными усами, и, наконец, борода длинная, густая, широкая, начинающаяся чуть не под глазами. При этом он имел привычку смотреть всегда сурово, насупившись, и старался басить, хотя природа дала ему довольно мягкий голос. Одевался мой приятель во все широкое, старался подбирать сукно поглубже, шляпу пошире, повыше, позабористее, сапоги потяжелее и вдобавок ко всему всегда носил с собой толстую палку с железным острым наконечником, которым звонил о панель. Существование этого наконечника мотивировалось необходимостью путешествовать по льду через Неву, так как мы обыкновенно жили на Выборгской стороне. В таком виде Рапидов на всех, кто с ним встречался в первый раз, производил самое безотрадное впечатление. Так и казалось, что он вот-вот набросится на вас с палкой и начнет ее острым наконечником бодать вас в бок. Но уже через полчаса оказывалось, что это самый мирный человек во всем свете, с которым

вполне безопасно, хотя и не особенно интересно проводить время, — не интересно потому, что он любил молчать, а если и вступал в разговор, то в самых кратких выражениях. Рапидов года четыре тому назад был медицинским студентом, и дело у него шло недурно. Он уже был на третьем курсе, когда судьба сыграла с ним штуку. Еще в гимназии любил он упражняться карандашом, не оставлял этого занятия и на Выборгской, Однажды ему удалось нарисовать карандашом голову профессора анатомии; рисунок вышел замечательно удачным и характерным и пошел по рукам. У кого-то его увидал какой-то художник — профессор с Васильевского острова и расхвалил до небес. До Рапидова дошли вести, что у него большой талант и что это сказал профессор. Об этом трубили ему два месяца и совершенно затмили у него здравый смысл. Он вдруг бросил академию Выборгской стороны и как-то необычайно быстро поступил в академию Васильевского острова[7]. Но, пошлявшись туда около года, он убедился, что таланта у него вовсе нет, и плюнул. Сбитый с толку, он уже никак не мог приладить-

ся, чтобы вернуться к медицине, и остался ни при чем. Таким образом Рапидов сделался человеком без определенных занятий.

В семь часов мы обыкновенно уходили домой. Перед уходом я завернул к Николаю Алексеевичу осведомиться, в самом ли деле он решился на подвиг — провести вечер вне своего кабинета. Я застал его за спешным делом. Он ходил по комнате в своих мягких туфлях и в разгильдяйском костюме и диктовал что-то Ивану Иванычу, который сидел за столом в его дубовом кресле.

— Простите, голубчик, я сейчас! — сказал он мне, указал мне на стул и продолжал, обращаясь к Ивану Иванычу, произнося слова с большими промежутками: — Вот те предварительные условия, по принятии которых вами его превосходительство готов вести дальнейшие переговоры. Прошу принять уверение и прочее, как обыкновенно... Кончили? Ну, давайте, я подпишу... Вот так... Теперь, почтеннейший Иван Иваныч, предлагаю вам провалиться в тартарары и ни в каком случае, ни по каким бы то ни было важнейшим делам не трогать меня. Вообразите, что я ис-

чез с лица земли, исчез бесследно. Меня нет, вовсе нет меня, понимаете? И если бы даже я вздумал звать вас звонком — наплюйте и не откликайтесь!

Иван Иваныч скептически улыбнулся, забрал какие-то бумаги и вышел на цыпочках.

— Значит, это решено бесповоротно, что вы сегодня у Здыбаевских? — спросил я.

— О, да, да, да, да, да! — с необычайной экспрессией произнес он. — Я у Здыбаевских, да! Прекрасные люди Здыбаевские, не правда ли?

Я подтвердил.

— Какой это добрейший, симпатичнейший человек Федор Михайлович! — с неподдельным чувством воскликнул он. Я и с этим согласился. Но Погонкин, очевидно, ощущал потребность излить свое восхищение на все семейство Здыбаевских. Он продолжал: — А Сергей Федорович, Сереженька, что за милый, что за талантливый юноша! Но согласитесь, согласитесь, голубчик, что таких девушек, как Елизавета Федоровна, не много найдется! Ведь правда? Как вы думаете?

Я подтвердил все пункты допроса и, выслу-

шав еще несколько похвал Здыбаевским, стал прощаться. Он задержал меня.

— Да, вот что, я давно собирался спросить... Не нужно ли вам денег или вашему товарищу? Пожалуйста, не стесняйтесь! Сколько угодно, вперед...

— Особенной надобности нет! — ответил я.

— Нет, нет, пожалуйста, прошу вас... Да вот самое лучшее, без разговоров... — Он быстро подбежал к ящичку стола, моментально выдвинул его и выхватил оттуда две сторублевки. Я вообще заметил, что у него была страсть платить сторублевками. — Вот вам и Рапидову... Я сам тружусь, поэтому умею ценить чужой труд.

Решительно он был в этот день в восторженном состоянии. Он ежеминутно жал мне обе руки, брал меня за талию и вообще выражал трогательное расположение. Видно было, что в душе у него зашевелилось нечто такое, что грозило разорвать цепь, приковывающую его к дубовому креслу.

Когда я передал Рапидову принадлежавшую ему сторублевку, он сказал, довольно, впрочем, угрюмо:

— Нет, что ж, видно, что он порядочный человек!

Рапидову очень нужны были деньги.

Здыбаевские жили на Кирочной, недалеко от Литейного, в третьем этаже огромного коричневого дома. Ход был без швейцара, лестница гранитная, неширокая, но чистая, с высокими окнами, которые пропускали много света. Квартира в пять больших комнат; обстановка уютная, изящная и приличная, но без излишеств. Здыбаевские держали две прислуги и ездили на извозчиках. Одним словом, тайный советник Федор Михайлович Здыбаевский, прослуживший во всевозможных должностях около пятидесяти лет, жил исключительно жалованьем, потому что больше ничего не имел.

Я пришел в девять часов и застал за чайным столом хозяев и Антона Петровича. Погонкин еще не приехал. Но через пять минут после моего прихода явился и он.

С первой же минуты он поразил меня и всех своим необычайным оживлением. Он был до того возбужден, что казался пьяным. Щеки его были румяны, в глазах горели ис-

кры, он не мог одной минуты усидеть на месте. Стоило только задать ему вопрос, чтоб он без остановки ответил на десять. Он никому не давал говорить, и о чем только он не говорил!

— Как поживает Константин Александрович? — спросил Федор Михайлович, который знал Чербышева по службе, но в частной жизни не встречался с ним.

— О, он отлично поживает, делает успехи, пожинает лавры на всех поприщах: и по службе, и в ученых обществах, и в благотворительных комитетах. Богатство его растет не по дням, а по часам. Константин Александрович вполне счастливый человек и вполне доволен своей судьбой и... своим секретарем, ха, ха, ха!.. Но я сегодня бросил все, и если бы мне сейчас сказали, что все три дома, мною управляемые, горят, — клянусь честью, я продолжал бы допивать этот стакан чаю... Ах, Федор Михайлович, если бы вы знали, какая у нас теперь идет статистика! Антон Петрович творил удивительные вещи, но Владимир Сергеевич творит просто чудеса... Он с своим Рапидовым... Вы не знаете Рапидова? О, это страш-

ный человек, которого я побаиваюсь. Эти два разбойника с Выборгской стороны грабят наши шкапы, вытаскивают оттуда цифры и строят из них целые дворцы...

При этом он почти залпом пил горячий чай, не глядя брал печенье и бессознательно пихал их в стакан и в рот. Мы все смотрели на него с тревогой, потому что его волнение казалось неестественным. Федор Михайлович подошел к нему и нежно взял его за талию.

— Кстати, чтобы не забыть, у меня есть к вам маленькое дельце. Пойдемте в кабинет...

Николай Алексеевич на мгновение отшатнулся, но потом сейчас же согласился и пошел. Федор Михайлович просто хотел занять его внимание чем-нибудь деловым и сухим и таким образом успокоить его. Вероятно, это ему удалось, потому что через полчаса мы нашли их в маленькой зале, и при этом Николай Алексеевич сидел спокойно и вел с хозяином какой-то деловой разговор.

В зале стоял коротенький рояль и несколько соломенных стульев у стен. Другой мебели здесь не допускалось, потому что Здыбаевские ценили хороший резонанс. Все они были

порядочные музыканты и страстно любили музыку. На рояле лежала скрипка такая же старая, как и ее владелец, Федор Михайлович. Этот величественный старик, с длинной, совершенно седой бородой, с густыми усами, закрывавшими не сходявшую с его губ умную, чуть-чуть насмешливую, но не злую улыбку, высокого роста, крупный, но не жирный, умел извлекать из своего инструмента горячие звуки. В молодости он останавливал на себе внимание заправских артистов, которые гнали его на артистическую дорогу; но он слишком мало верил в свои силы и остался любителем. В углу стоял огромный футляр, в котором обитала виолончель, инструмент, как думали очень многие, погубивший карьеру Сереженьки. Сергею Федоровичу было всего девятнадцать лет. Он кончил гимназию, но вместо того, чтобы продолжать учење, занялся музыкой, которую любил. Старик не одобрял этого шага, тем не менее не мог не сознаться, что у Сереженьки есть талант и что он взялся как раз за свое дело. Таким образом, юноша напоминал старика не только ростом, сложением и чертами лица, но и вкусами и

способностями, только у него было больше артистической уверенности. Он твердо сказал себе: «Буду выдающимся артистом!» — и бросил все остальное.

Антон Петрович подошел к старику Здыбаевскому.

— Федор Михайлович! — сказал он своим обычным тоном публичной речи, играя пенсне, как настоящий адвокат. — Дабы окончательно привязать к нашему греховному миру сего пришельца из мира иного, безгрешного и бесплодного, — сыграйте ему одну из ваших чудных мелодий!

— Да, да, я жажду, жажду послушать вас, Федор Михайлович! — поспешил подтвердить Николай Алексеевич.

— Что ж, господа, я готов, только предупреждаю, что мои старые пальцы уже дрожат! — ответил Федор Михайлович.

— Я хотел бы, чтобы мои молодые так бежали по струнам, как твои старые! — сказал Сергей.

— Ну, ладно, ладно! Садись, Лиза! Что вам?

— Конечно, элегию Эрнста! Это само собой разумеется! — заявил за всех Антон Петро-

вич.

Он принадлежал к тем пристрастным любителям музыки, которые с упоением слушают то, что они почему-либо часто слышали, и совсем не признают всего остального. Антон Петрович признавал для скрипки две вещи: элегию Эрнста и легенду Венявского; [8] когда же начинали играть что-нибудь другое, хотя бы это был сам Бетховен, он зевал и говорил:

— Ну, это уже началось что-то запутанное!

Лизавета Федоровна села за рояль, старик взял в руки и настроил скрипку. Через минуту раздались звуки элегии. Федор Михайлович играл уверенно, с хорошей выдержкой и с большим чувством. Годы его отражались только на технике, которая кое-где заметно хромала; но это видели его дети, обладавшие тонким музыкальным слухом, и не замечали ни Антон Петрович, ни Николай Алексеевич. Они сидели рядом и молча. Сергей стоял за спиной сестры и переворачивал страницы нот. Когда старик кончил и обернулся, чтобы узнать мнение своих гостей, он увидел Николая Алексеевича, сидящего неподвижно с опущенной на грудь головой, с нахмуренны-

ми бровями и с напряженно-сосредоточенным выражением бледного лица. Федор Михайлович подошел к нему и прикоснулся к его руке.

— Ну, что, дружище, тронула вас стариковская игра?

Николай Алексеевич вздрогнул, как от прикосновения электрической искры, и поднял на него глаза, полные слез,

— Играйте, играйте же! Что ж вы остановились? — промолвил он дрожащим голосом, крепко сжимая руку старика.

— Эге, брат, ты совсем плох, как я погляжу! — шутливым тоном сказал ему Федор Михайлович. — У тебя секретарское отравление. Это особая болезнь. Человек мало-помалу отравляет свою кровь ядом докладов, рефератов, всяких поручений, внушений и т. п. Все это в высшей степени ядовитые вещи.

Все рассмеялись, в том числе и Николай Алексеевич. Этого только и нужно было Федору Михайловичу. Он хотел рассеять глубокое впечатление, произведенное на Погонкина элегией, впечатление, которое, очевидно, было ему не впрок.

— Играйте, пожалуйста! — сказал Николай Алексеевич, — я должен сделать большой запас приятных впечатлений!..

— Так-то оно так, да не следовало бы! — возразил Федор Михайлович. — Для вас эти впечатления нездоровы.

— Нет, нет, я только наслаждаюсь! Нет, пожалуйста, играйте!

— Ну, пускай Сергей играет. У него выйдет полегче. Сергей сейчас же вытащил из угла виолончель и принялся настраивать ее.

— Ты что-нибудь этакое... Из салонных... Ну, там какой-нибудь романс без слов! — сказал ему Федор Михайлович.

— Ладно!

Лизавета Федоровна начала ригурнель, что-то легкое, игривое, на верхних октавах. Николай Алексеевич оживился и поднял голову. Они, в самом деле, выбрали легкую вещь, которая произвела на гостя освежающее впечатление. Но Куницын все время кривился и не одобрял, так как пьеса была ему незнакома.

— Нет, это что-то такое... не то! — говорил он мне вполголоса. — Вот Поппера[9] сочине-

ния — это я понимаю, это музыка!..

Он слышал где-то в концерте какое-то сочинение Поппера и очень ценил его.

— Bravo, bravo, Сереженька! Позвольте вас расцеловать! Ах, какой вы талант! — восторженно кричал Николай Алексеевич, оживленный, наэлектризованный.

— С удовольствием! — ответил молодой человек, и они поцеловались. Федор Михайлович смотрел на своего редкого гостя и качал головой.

— Знаете что, — тихо говорил он Антону Петровичу и мне, — он дурно кончит... Ведь это нерв, прямо-таки обнаженный нерв! Посмотрите, что с ним делается! Грустная музыка — он плачет, веселая — он уже смеется; он совсем не владеет собой!..

Между тем Николай Алексеевич стоял у фортепьяно и в самых изысканных выражениях обращался к Лизавете Федоровне.

— Я имел удовольствие слышать ваше превосходное пение полгода тому назад и помню, что оно доставило мне высокое наслаждение! — говорил он, нагибаясь слегка вперед. — Я надеюсь, что и на этот раз вы не ре-

шитель лишит меня удовольствия, которое, к моему глубокому сожалению, так редко выпадает на мою долю!..

Лизавета Федоровна хохотала.

— Боже, как длинно и красиво! Сказали бы просто: спойте!.. и я спела бы!..

— Ну, просто: спойте!

— Извольте!..

Она ударила по клавишам и запела. Это была песенка Кармен о любви. Николай Алексеевич отошел и сел на свое прежнее место. Он слушал и не спускал с нее глаз.

Он не считал ее красивой, по она была стройна, изящна и мила с своим детским личиком, с золотистыми локонами, с веселыми, ясными и добрыми глазками. Что-то притягивало его к ней, а в ее небольшом, но чистом и свежем голосе, в ее манере петь просто, толково и скромно было для него что-то неотразимо-влекущее. И когда она кончила, ему тоже хотелось сказать: «О, как мне хочется расцеловать вас!», но он вместо этого сказал:

— Merci! Божественно! Неподражаемо!

И чувствовал он, что сердце его усиленно бьется и как-то болезненно ноет. Поговорив

еще без всякого интереса о чем-то минут десять, он стал прощаться. Это удивило всех. Было только около одиннадцати часов.

— Что с вами, голубчик? Мы еще закусим, поболтаем! — сказал ему Федор Михайлович.

— Нет, не могу! — промолвил Погонкин каким-то взволнованным, прерывистым голосом. — Я получил такую массу приятных и сильных впечатлений, что больше не в силах... У меня сердце разорвется!..

Федор Михайлович нежно обнял его за талию и прошелся с ним по комнате.

— Дорогой Николай Алексеевич! Я говорю вам как человек, проживший на свете около семидесяти лет, и как искренний друг ваш: бросьте вы это проклятое секретарство! Оно вас губит! Вы человек способный, живой, интеллигентный, симпатичный, и все это уходит на глупое и чужое дело! Бросьте, ей-богу, бросьте!..

Николай Алексеевич сочувственно пожал ему руку и стал прощаться со всеми. Я сказал, что поеду с ним, так как нам было по дороге. Он как-то нервно торопился, говорил неподходящие фразы, не попадал в рукава пальто и

в калоши. Мы вышли на улицу.

— Ах! — воскликнул он, схватив почему-то мою руку и сильно тряся ее. — Все разумное, симпатичное и здоровое мне вредно! Вот голова кружится и сердце ноет. А долго ли я был в обществе живых людей? Каких-нибудь два часа, и это уже меня отравило!..

Мы сели в извозчичью пролетку. Он продолжал:

— Вот Федор Михайлович говорит: бросьте! А я не могу!..

— Почему же? — спросил я.

Он промолчал и долго молчал, а затем сам уже начал пониженным голосом:

— Нет, не могу! Двенадцать лет тому назад я поступил на службу. Не для пользы же родины я это сделал! ибо моя служба никакой пользы родине принести не может. Служба бумажная! Служба входящих и исходящих! Служба дел за номером и соображений по вопросу об!.. Поверьте, что если бы мы, петербургские чиновники, частным образом не узнавали, что в провинции люди ходят на двух ногах и имеют душу живую, мы могли бы смело всю жизнь думать, что они ходят на че-

тырех ногах и делают жвачку... От этого течение наших дел за номером не изменилось бы!.. Я вступил для того, чтобы добиться самостоятельного положения, да-с! Добиться и успокоиться на лаврах. Теперь возьмите: ежели я оставлю его превосходительство, я добьюсь своего еще через пятнадцать лет, и то ежели не забудут (ибо многих, яростно служивших, на моих глазах забыли!), а с его превосходительством, который силен и могуч, мне, быть может, осталось лямку тянуть всего пять лет. Мне уж и то два раза дали отличие, которое следовало другим, да-с! Чиновник — это тот же подмастерье, который сперва служит «мальчиком», и бьют его тогда, мучают, а он думает: ладно, мучайте, бейте, а вот стану подмастерьем, а там и мастером, и сам буду мучить и бить... Не могу оставить, не могу! Добьюсь самостоятельного положения и почию на лаврах. Вот тогда и дам волю своим вкусам и склонностям! Вот когда я зарююсь в книги, съем свою библиотеку... Да-с, а вы говорите: оставить!.. Без самостоятельного положения я — нуль; а этого мне не добиться без его превосходительства, следовательно —

я нуль без его превосходительства...

Когда мы подъезжали к его квартире, он сказал:

— Но какая прелесть эти Здыбаевские! Что за восхитительное существо Лизавета Федоровна!

— Вот бы вам жениться на ней! Она бы вас переделала! — сказал я почти машинально, не подумавши.

Мой патрон вдруг сильно заерзал на месте и в то же время рассмеялся каким-то странным, неопределенным смехом. Мы остановились и вышли из экипажа.

— Слушайте, голубчик, зайдемте ко мне, поболтаем еще! — сказал он, взяв меня за руку и таща во двор. Я согласился. Мы вошли в ворота, прошли длинный и широкий, хорошо вымощенный гладкими плитами первый двор и взобрались во второй этаж. На лестнице было тихо. Газовый рожок горел еще в ожидании господина управляющего.

— Я думаю, Иван Иваныч теперь закатился спать. Я рад, что и он отдохнет вечерок... Ведь, в сущности, это ломовая лошадь, которую я душу страшной поклажей...

Вот мы в кабинете. Николай Алексеевич остался в черном сюртуке и пригласил меня сесть. Сам же он не сажился, а нервными шагами с взволнованным лицом стал ходить по комнате.

— Да, сознайтесь, Владимир Сергеич, сознайтесь... Такая девица, как Лизавета Федоровна, могла бы составить счастье любого человека... Сознайтесь!

— В том числе и ваше?

Он опять рассмеялся, как на улице.

— Мое... Мое счастье!.. Что же, от счастья никто не отказывается... Знаете ли что? Я сегодня ничего не могу держать в душе, я вам все скажу...

Но тут он остановился и вздрогнул, потому что в передней раздался звонок.

— Какого это дьявола несет в двенадцать часов ночи?.. Если это Иван Иваныч с каким-нибудь делом, я его убью!..

Через минуту Иван Иваныч стоял перед ним.

— Вы, вероятно, пришли узнать, как мое здоровье? — ядовито спросил его Николай Алексеевич. — Благодарю вас, очень хорошо!..

— Нет, не в том-с, Николай Алексеич!

— Ну, уж конечно, тараканщик приходил, а?

— Нет, хуже-с...

— Хуже?

— Гораздо хуже!.. Как только вы ушли, сию минуту телефон зазвонил, да как! Я думал, что треснет... Подбегаю: кто там? «Дома Николай Алексеевич?» Кто такой? Нету дома!.. А оказывается, что это его превосходительство, Константин Александрита.

На лице Николая Алексеевича появилась кислая мина крайнего недовольства.

— Через полчаса опять и уже сердитым голосом: «Дома?» Нету! А потом и курьера с письмом прислали. Вот-с!..

Иван Иваныч подал письмо.

— Извольте видеть, — говорил Николай Алексеевич, рассматривая конверт на свечку, — у меня нет своего времени, у меня не может быть своих дел, желаний, потребностей, вкусов...

И он сердито разорвал конверт. Записка была очень коротка. Николай Алексеевич пробежал ее в одну секунду, потом скомкал,

бросил на стол и заметался.

— Сейчас, сию минуту, во всякое время дня и ночи!.. Голубчик, вы меня подождите. Что-то чрезвычайно важное, может быть, касающееся вашей работы... Я в полчаса справлюсь. Он тут близко живет... Шляпу, калоши!.. Аннушка, кто там?

Он оправлял сюртук, причесывал волосы и вообще мало-помалу принимал чиновничью осанку и выражение. Иван Иваныч подал ему пальто, Аннушка принесла калоши, закутали ему шею белым платком, и он, кивнув мне головой, исчез.

Иван Иваныч проводил его, потом вернулся в кабинет.

— Ну, будет катавасия! — выразительно промолвил он. — Страсть как не любит его превосходительство, когда Николая Алексеевича дома нет.

— Что бы это могло быть за дело? — спросил я.

— Ха, ха, ха!.. Дело! Сам завтра на охоту едет, а ему какой-нибудь доклад срочный сдаст; это уже так всегда!.. А вот посмотрим, что он ему пишет, — прибавил он, расправляя

скомканную записку. — «Никогда вас дома нет, когда очень нужно!» Никогда! Это Николая-то Алексеевича! Ха, ха, ха, ха!.. Ну, правда, нечего сказать! «Дело нетерпящее: приезжайте хоть в три часа ночи». Н-да! Надо полагать, на охоту завтра рано едет. Потому что же может быть для его превосходительства нетерпящее более этого?

Николай Алексеевич действительно вернулся через полчаса, но что у него было за выражение! Куда девался его строго чиновничий вид, который он приготовил для его превосходительства! Он был какой-то встрепанный, на лице выражалось тревожное волнение; снявши сюртук и оставшись в жилетке, он, в противность своим правилам, даже не извинился и мелкой, но бурной походкой забегал по комнате.

— Понимаете? Понимаете? — лепетал он, подергивая плечами и делая руками отрывочные и короткие жесты. — Прежде всего изволили внушение сделать... Да-с... Внушение... Любезнейший, мол, Николай Алексеевич, ценю, уважаю, доверяю и прочее, но... Извольте видеть... Понимаете... Ну, да черт... Не в этом

дело... Через две недели возобновляются заседания комиссии... Понимаете? Материал, отчет... Хоть кровь из носа — приготовьте ему отчет!.. Я говорю: нет возможности! А он говорит: «Знать ничего не хочу, это ваше дело! Возьмите, говорит, еще помощников, возьмите их, сколько вам угодно, денег не жалею, только бы не оскандалиться...» Понимаете? Теперь за две недели денег не жалеет, а раньше едва на одного выканючил... Ну, да черт с ним, не в этом дело! Владимир Сергеич! Теперь вся надежда на вас! Вы один можете нас спасти! Берите себе помощников, два, три, четыре, пять, десять, сколько надо! Я плачу, его превосходительство платит! Вы работайте, а я завтра же засяду за отчет!.. Брр!.. Так меня всего и дергает... Брр... — Эта фраза «Я завтра же засяду за отчет!» была великолепна в устах Николая Алексеевича, который, по его же собственному признанию, понимал в деле меньше, чем мизинец Антона Петровича.

Николай Алексеевич между тем делал распоряжения Ивану Иванычу: выворотить из шкапов дела, подобрать по городам, приготовить бумагу, чернила, ручки, перья, изве-

стить всех обойщиков, тараканщиков и т. п., чтобы две недели на глаза не показывались, — все это сегодня, сейчас, сию минуту...

Иван Иванович сперва делал большие глаза и выражал на лице ужас, но потом, вероятно, решил в душе наплевать на все эти приказания и лечь спать. Под конец речи Николая Алексеевича лицо Ивана Ивановича уже улыбалось,

— Так уж пожалуйста, Владимир Сергеич! Делайте что хотите! Все в ваших руках, все! — повторил он мне еще раз... — Берите кого хотите; за вознаграждением не постою!..

Я оставил его буквально в диком состоянии. Я решительно не был способен верить в благой результат предстоящей нам двухнедельной работы. Тем не менее я радовался тому, что еще с полдесятка порядочных людей без определенных занятий найдут себе кратковременное питание.

IV

Вот уже неделя, как в нашей «канцелярии» видет невообразимая горячка. Всюду валяются кучи «дел», графленой бумаги, просто бумаги, «черновых», «чистовых» ведомостей и всякого бумажного хлама. Эти кучи занимают все столы, все стулья, на которых не сидят, почти весь пол, оставляя только узкие полоски в разных направлениях для прохода. «Канцелярия» живет и дышит. За длинным столом сидят четверо, за столиком у окна — двое. Иван Иваныч ежеминутно выбегает и вбегает, его тормозят просьбами, и он старается всех удовлетворить.

Из четырех, сидящих за длинным столом, двое не представляют ничего нового. Это — я и Рапидов. Другие двое сидят здесь только четыре дня. Очень естественно, что мы с Рапидовым оказываемся господами положения. Новички то и дело обращаются к нам с вопросами, и мы разъясняем. Нет ничего удивительного в том, что я разъясняю, но разъясняет также и Рапидов. Он уже не церемонится с помещиками и купцами и, в случае их недоста-

чи в какой-нибудь графе, создает их целыми полдюжинами.

Двое сидящих за нашим столом отличаются друг от друга бородами. У одного борода рыжая, длинная, но узкая и редкая. Сам он — коренастый, плечистый, с толстой шеей и длинным носом и по фамилии Чапликов. Цифры произвели на него удручающее действие. В первые два дня он до того ошалел, что сбивался на сложении и вычитании, позабыл таблицу умножения и постоянно спрашивал у нас, сколько семью восемь и семью девять. Это произошло оттого, что он уже лет шесть, то есть с тех пор, как вышел из седьмого класса гимназии, не имел дела с цифрами выше сотни. Он был ветеринарный врач, сидел в Петербурге в томительном ожидании места, практики не имел никакой и жил чем придется, давал уроки, переписывал, пел в каком-то церковном хоре — одним словом, брал все то, что посылал ему бог.

У другого не борода, а бородка, черная, тщательно подстриженная, волосы на голове длинные, вьющиеся, взгляд пронизательный, с искрой. Зовут его Аркадием Спицыным, взят

он прямо из консерватории, где обучается пению, обладая хорошим баритоном. В будущем его ожидала слава, но теперь он ел очень плохо, что, без сомнения, неблагоприятно отражалось на искусстве. Малый он веселый и то и дело смешит нас своими музыкальными сопоставлениями.

— Иван Иваныч! — шепчет он, — позвольте-ка мне каватину из оперы «Неплюйские мещане в думе»!

Иван Иваныч таращит на него глаза:

— Это что же, собственно, позвольте узнать?

— Прошу вас, Иван Иваныч, хор купцов из оперы «Тихоструйские думцы»!

Иван Иваныч опять в недоумении. Впрочем, это было только в первые дни. На четвертый день необычайно толковый и восприимчивый Иван Иваныч усвоил себе всю терминологию Спицына и на его требования с улыбкой отвечал ведомостями.

Барышню достал Рапидов.

— Это, брат, замечательная личность! — рекомендовал он ее. — Она училась на педагогических, но тамошняя наука ее не удовле-

творяет. Теперь она хочет перебраться на высшие курсы... Характер, я тебе скажу, железный... Отказалась от богатого жениха, бросила провинцию и приехала без копейки сюда искать знаний. Вот ты сам увидишь...

«Замечательная личность», однако, производила на нас самое неблагоприятное впечатление. Она была довольно миловидна, и к ней шел ее небрежный и несложный костюм — черная прямая юбка и черная рубашка с ременным поясом. Но сидеть все время с сдвинутыми бровями и с сомкнутыми губами — это очень скучно. Притом она всякий раз усиленно морщилась, когда Спицын пускал в ход одну из своих музыкальных шуток. Очевидно, этих шуток она не признавала и стояла выше их. Разговаривала она только с Рапидовым, который, по всем видимостям, сильно ее побаивался.

Мне ужасно хотелось чем-нибудь «осадить» ее, и я очень был рад, когда она сама дала к этому повод. Она кончила свою первую ведомость и предложила ее мне для просмотра. Я взглянул и ахнул. Купцы у нее составляли семьсот пятьдесят процентов всего числа

гласных, а мещане — девятьсот с лишним. Каким образом это выходило, я никак по мог понять. Но я не сказал ни слова и молча положил ведомость перед Рапидовым. Мой приятель взглянул и покраснел до ушей.

— Тут есть некоторые ошибки, — не очень смело пробормотал он, обращаясь только отчасти ко мне и главным образом к барышне. — Но их можно исправить...

— Ну, так исправьте! — небрежно промолвила она и принялась деятельно ходить по комнате, заложив руки за спину. Она расправляла члены с видом человека, в течение двенадцати часов не разгибавшего спины, хотя работала не больше полутора часа.

Рапидов начал исправлять и провозился над ведомостью добрых три часа, переделав ее всю заново. Барышня приняла это как должное.

— Однако, это двойная работа! — заметил я. — Этак мы далеко не уйдем!..

Барышня остановилась и довольно воинственным тоном спросила:

— Что же вы хотите этим сказать?

— Ничего особенного... Я хотел бы только

немножко больше внимания! — ответил я мягко и даже с любезной улыбкой.

— Если вам не годится моя работа, так я могу оставить... Я не намерена навязываться!..

— О, что вы, что вы, Ольга Николаевна! Напротив, я очень доволен, рад, мне чрезвычайно приятно! — Это я сказал ради Рапидова, который сидел как на иголках, упорно глядя в ведомость и, конечно, ничего в ней не видя. Но мне, разумеется, хотелось сказать не то. Я с удовольствием воспользовался бы этим случаем, чтобы отделаться от ее строгих взглядов.

Человек, сидящий за одним столом с Ольгой Николаевной, медицинский студент, по фамилии Криницкий. Одет он совсем пониженьски и обладает бледным, изможденным лицом, кажущимся необычайно широким по причине сильно разросшихся и плохо содержимых бакенбард мочального цвета. Криницкий — мой давний приятель и земляк; он известен в академии по двум обстоятельствам: первое — у него большая склонность к философии, и второе — отвращение к медицине. В

академию попал он случайно, просто потому, что извозчик с вокзала привез его не на Васильевский остров, а на Выборгскую, в дешевые и грязные меблированные комнаты. Но, обучаясь медицине четыре года, он всюду, где только представляется случай, объявляет и доказывает, что эта наука гроша медного не стоит и что нет ничего выше математики. Математикой он, однако, не занимается, потому что некогда. Он круглый бедняк, он «нищий-студент» в буквальном смысле этих слов. Вся его жизнь, все его время, все помыслы — идут на добывание рубля. Костюм его невероятно поношен, лицо — худосочно, со всеми признаками недоедания, влияния холодной квартиры, дурного воздуха.

Криницкий уже четыре дня сидел над своей дебютной ведомостью. Хотя это было до очевидности долго, но я не беспокоил его, потому что дал ему работу неспешную. Изредка я позволял себе заглянуть в его выкладки, и то как-нибудь через плечо или хорошенько перекосив глаза. Я видел невероятно длинные столбцы, целые кучи цифр, которыми он исписывал лист за листом, и я никак не мог

понять, для чего все это. Наконец он объявил:

— Ну, я кончил! Можете подвергнуть критике!

Я взглянул, и с первого раза у меня зарябило в глазах.

— Что за чертовщина! — воскликнул я, пристально всматриваясь в цифры. — Гласных всех шестьдесят, а в том числе мещан один миллион триста тридцать четыре тысячи семьсот восемнадцать... Это вы подшутить хотели, Аполлон Сергеич? а?

— Да, в самом деле, это странно! — согласился он со мной. — А я этого и не заметил!..

— Но каким образом вы получили эти цифры?

— Видите ли, я употребил особый метод... Как бы вам это объяснить... Ну, одним словом, из высшей математики...

Я взглянул в густые столбцы цифр и разглядел в них и иксы, и игреки, и зеты, и квадратные корни, и бесконечные дроби, и чуть ли даже не логарифмы. Криницкий был смущен неожиданными результатами своего метода, который он считал непогрешимым. Мы рекомендовали ему первые четыре правила

арифметики, которых было совершенно достаточно для осуществления нашей грандиозной задачи. Он принял совет скромно и с сознанием своего заблуждения.

Между тем Николай Алексеевич писал отчет. В течение этой недели я виделся с ним каждый день урывками. Он забегал (именно забегал, а не заходил) в канцелярию, наскоро пожимал всем нам руки, спрашивал, как идет дело, и, не дождавшись даже ответа, удирает к себе. Я был совершенно уверен, что у него написана целая гора страниц.

Однажды я спросил Ивана Иваныча:

— Ну что, как подвигается работа Николая Алексеевича?

— Какая работа?

— А он же пишет отчет?

Иван Иваныч прыснул и залился смехом.

— Отчет? Не знаю, что у него выйдет за отчет! К нему каждую минуту лезут до делам. А доклады? а рефераты?..

— Да ведь он все это бросил на время!

— Как же, дожидайтесь, бросит он! Он хочет все успеть! Не слышал я что-то про ваш отчет!..

Это было для меня новостью. Ведь до комиссии оставалось меньше недели. Я зашел к Николаю Алексеевичу. Он в сильном нервном напряжении бегал по комнате.

— Что с вами? — спросил я.

— Ах, голубчик, что мне делать? научите! Я сел наконец за этот дурацкий отчет. Вот посмотрите, написал десять строчек и дальше ни шагу. Ничего нет в голове, решительно ничего... Только обмакну перо в чернильницу и приставлю его к бумаге — сейчас в голове мелькает мысль: коломенский дом уже два дня без дворника — как тут быть? Ах, вы не можете себе представить, что делается в моей голове! Прочитайте, пожалуйста, вступление.

Я прочитал: «Прежде чем приступить к детальному изложению данных, добытых ревизией, я считаю своим долгом предпослать общие положения, характеризующие то состояние, в котором, по мнению моему, в настоящее время обретается дело, составляющее предмет настоящего отчета...»

— Дальше ничего не могу написать. Извольте высечь меня — ни слова не напишу... Ни общих положений, ни детального изложе-

ния, ни данных, никакого черта в голове моей нет... Голубчик, не можете ли вы?..

— Я? Что же я могу?

— Написать отчет!..

Он смотрел на меня, я на него. Ему достаточно было моего согласия, чтобы он поверил в мою способность. Мне же это показалось невозможным. Выполнял я на своем веку всякие работы, но не считал себя способным подъять это бремя. Ведь там, в комиссии, заседают все солидные государственные мужи, сановники, привыкшие к основательным докладам, написанным точным языком, и вдруг им преподнесут нечто, изображенное легкомысленным и неопытным пером человека без определенных занятий.

Впрочем, минуты через две мне показалось, что хотя это и не легкое дело, но мыслимое и взяться за него можно. Николай Алексеевич между тем продолжал умолять:

— Возьмитесь, вы сможете, вы отлично напишете!.. Вы приспособитесь, недаром же вы гений приспособляемости!..

Надо было еще только две минуты, чтобы эта работа показалась мне сущими пустяка-

ми. «Почему же нет? — подумал я. — Если бы Николай Алексеевич писал сам на основании нашей статистической чепухи, то правда от этого ничего не выиграла бы».

— Хорошо, я согласен! — объявил я.

Погонкин бросился ко мне, схватил мои руки и принялся бешено трясти их.

— Ах, вы не поверите, как я вам благодарен! Ведь у меня сил не хватает, просто нет физической возможности! Да еще в последнее время как-то так скверно работается... Такое состояние духа неподходящее.

— Что же с вами?

— Право, я сам не могу определить! Нервы, знаете... По ночам не спится, аппетит скверный, на все злость берет, все противно. Иной раз мне кажется, что я вот сейчас с ума сойду. Нет, не то — а словно сию минуту голова развалится на части. Мысли, чуждые одна другой, распирают ее во все стороны. Ах, боже мой, боже мой! Сколько я дал бы, чтобы избавиться от этой жизни и устроить другую!.. Скажите, вы давно были у Здыбаевских?

Он действительно в последние дни стал еще беспокойнее, лицо сделалось дряблым и

зеленым, только глаза постоянно горели и светились блеском. Я сообщил ему, что у Здыбаевских был накануне, что у них все по-старому, вспоминали о нем, занимались музыкой.

— Что за прелестные люди! — восторженно воскликнул он. — Что за чудная девушка Лизавета Федоровна!..

Этот восторженный отзыв, повторявшийся слишком часто, начал наводить меня на подозрения: неужели он имеет виды? Но достаточно мне было взглянуть на его непрезентабельную фигуру, вспомнить, чему посвящает этот человек свою жизнь, чтобы всякие подозрения рассеялись. Где ему!

С следующего дня управление «канцелярией» было передано Рапидову, я же поместился в кабинете Погонкина и там писал отчет. Первые две-три страницы шли у меня туго, но я очень скоро освоился, и дело пошло как по маслу. Я вполне проникся ролью государственного человека, вдавался в важные рассуждения, цитировал цифры и заполнял ведомостями целые страницы.

Приближался день заседания комиссии. Я

оканчивал первую часть. В квартире Погонкина кипела страшная горячка. В канцелярии с невероятной быстротой фабриковались ведомости. Когда мне их приносили, в качестве материала, я только разводил руками. Рапидов, очевидно, не успевал проверять барышню, а медицинский студент Криницкий деятельно применял свой метод из высшей математики. Но так как все это приводилось, в конце концов, к ста процентам, то можно было примириться.

Я пачкал страницу за страницей; отчет вырастал. Перед моими глазами ежеминутно мелькали неугомонные клиенты Николая Алексеевича, с которыми он торговался, внушал, платил. Иногда он садился на краю стола и набрасывал какой-нибудь доклад. Но тут явилась новая забота: надо было сыскать переписчиков для моего произведения.

— Я могу вам порекомендовать переписчика! — сказал я, вспомнив еще об одном приятеле без определенных занятий, которому тоже не мешало дать пищу.

— А кто он такой?

— Кто? Да так себе... Гражданин Россий-

ской империи!..

Николай Алексеевич улыбнулся и отрицательно покачал головой.

— Нет, это невозможно. Подобные вещи должны быть переписываемы специалистами.

Последовало надавливание кнопки и появление Ивана Иваныча.

— Сходите к Мусину и Паршикову и передайте им от моего имени покорнейшую просьбу пожаловать сюда для переписки отчета!..

Вечером того же дня я увидел обоих «специалистов», Мусина и Паршикова. Это были в высшей степени приличные люди, которых по внешнему виду можно было принять, по крайней мере, за начальников отделений. У обоих были великолепные бороды — у Мусина черная на манер перевернутой пирамиды, у Паршикова посветлее — в форме четырехугольника, обе тщательно расчесанные. У Мусина к тому же еще водились густые кудрявые волосы, а у Паршикова просвечивала лысина. Оба они были примерно в подсорокалетнем возрасте и имели чин коллежского

советника. Весь их талисман заключался в необычайно красивом почерке, за который им платили весьма солидное жалованье и давали чины. Они с полной уверенностью рассчитывали умереть статскими советниками с пенсией.

— Садитесь, господа, пожалуйста, прошу вас, очень рад вас видеть! Очень, очень рад! — рассыпался перед ними Николай Алексеевич, и они принимали это с солидной любезностью, садились в позах вежливых, но далеко не робких, и вообще вели себя хотя и сдержанно, но самостоятельно. Николай Алексеевич познакомил их с моей работой и объяснил, для какой важной цели она предназначена.

Они посмотрели на меня крайне недоверчиво, очевидно, чутьем угадав, что я, с канцелярской точки зрения, в высшей степени несовершенное существо.

— Очень мы заняты, Николай Алексеевич! — говорили они. — Не знаем, как и быть...

— Уж как там хотите, господа... Как-нибудь уж постарайтесь для его превосходитель-

ства... — Одно только напоминание о его превосходительстве совершенно излечило их от нерешительности; они приняли работу и даже обещали ночей не спать.

Таким образом моему сомнительному отчету предстояло вступить в очень важный фазис: перенесение на слошовую бумагу руками «специалистов», коллежских советников, существующих для экстренно важных бумаг, Мусина и Паршикова.

Настал и канун заседания комиссии.

VI

В одиннадцать часов вечера, когда мы напрыгали все силы, чтобы привести весь материал первой части в порядок, подбирая подходящие ведомости, в виде приложения к отчету, и еще раз зорко следя за тем, чтобы везде цифры говорили одно и то же, а главное, чтобы проценты составляли сто, Николай Алексеевич был экстренно вызван к его превосходительству. В ожидании его мы отдыхали и пили чай. Иван Иваныч по каким-то неуловимым признакам, вроде особого оттенка телефонного звонка, которым был вызван Погонкин, предсказывал какую-нибудь катастрофу.

— Уж это непременно что-нибудь этакое... особенное, неожиданное!.. Уж это, поверьте, у меня предчувствие...

И действительно, когда Николай Алексеевич вернулся, то по первым его приемам можно было догадаться о какой-нибудь неприятности. Крайне впечатлительный, не умевший ни минуты таить то, что у него было в душе, он, в случае неприятности, тотчас

же раздражался негодованием, которое, в конце концов, переходило в покорность судьбе. Но на этот раз он молча переоделся, сказал мне каких-то не относящихся к делу два слова, сел в кресло, закурил папиросу и погрузился в думы.

Так он сидел добрых десять минут, и это его необычайное молчание сильно интриговало меня. Должно быть, что-нибудь очень уж сильное преподнес ему его превосходительство, если он сделался способным так долго сидеть на одном месте и молчать.

— Как вы думаете, Николай Алексеевич, — начал я для того, чтобы напомнить ему о себе, — если купцы составляют одну пятую всего состава думы...

Вдруг мой патрон вскочил с своего места и замахал на меня руками.

— Бросьте, пожалуйста, ваших купцов! Я совсем забыл вам сказать: комиссии завтра не будет...

— Как не будет?

— Так, не будет, да и только... Это обыкновенная судьба всех комиссий. Они семь раз отменяются и только на восьмой заседают...

Она отсрочена на шесть недель...

— Однако!.. А как же мы-то все будем?

— О, это пустяки! Все останутся по-прежнему... Работа найдется. Теперь мы имеем возможность еще более тщательно обработать материал...

И он с мрачно опущенной головой заходил по комнате.

— Странно, однако, что это в сущности приятное навестив так опечалило вас! — сказал я.

Он остановился и горько усмехнулся.

— Вы думаете; это? Нет, не это...

— А что же?

Он молча раза три прошелся по комнате.

— Послушайте, Владимир Сергеич, я вам скажу... Надо же мне кому-нибудь сказать это... Только, прошу вас, никому не передавайте... Это пакость и мерзость!.. Да, пакость и мерзость!

Это он сказал чрезвычайно выразительно и сел против меня с совершенно подавленным видом.

— Я не могу отказаться... Что ж, это значило бы отказаться от всего... Но вы не можете

себе представить, как это меня мучит, как это мне несвойственно, противно... А впрочем, — прибавил он с саркастической усмешкой, — на практическом языке это называется коммерческой сделкой... Можно на этом успокоиться...

— В чем же дело?

— Ах, дело в том, дело в том... Одним словом, пакость... Видите ли, его превосходительство изволил облюбовать одно именье в Тульской губернии... Именье недурненькое, тысяч восемьсот стоит... Но при известной обстановке его можно купить за пятьсот... С одной стороны, умеючи дать тому, другому, третьему отступного, а с другой — требуются подставные лица, которые будут торговаться якобы от своего имени... Но вы понимаете, что для всего этого необходимо соглашение с некоторыми местными деятелями. Словом сказать, для всего этого надобно затратить такую массу мерзости, какой не у всякого хватит...

— Да что же вам-то от всего этого?

— Мне? Да ведь я же секретарь!.. Следовательно, на моей обязанности лежит обделать

все это дело, для какой-то цели я завтра же должен ехать в Тульскую губернию... Да-с, завтра. Я еще не знаю, чем я буду: подставным лицом или покупателем по доверенности... Это решится на месте. Но не все ли равно? Черт возьми!.. Я, с своими идеально-благородными стремлениями, я, интеллигентный человек, министерский чиновник не без видной карьеры, я — подставное лицо на торгах! Можно ли этому поверить? Но послушайте, Владимир Сергеич, я прошу вас, не говорите об этом никому, никому, особенно Здыбаевским... Ведь это загрязнит мою репутацию. Ведь никому нет охоты вникать в мое положение...

— Откровенно говоря, — заметил я, — я в вашем положении не вижу ничего, вынуждающего вас так поступать...

— Как-с! Отказаться? Бросить секретарство? Да меня тогда сейчас же забудут, затрут, забросят, а может быть, и выбросят. Нет, уж если я выбрал служебную линию и протянул на ней двенадцать лет, то надо добраться до ступени, дающей самостоятельность. Это уж как хотите! Двенадцать лет не такая малая

величина, чтобы ее не принимать в расчет. Я их потратил и имею право что-нибудь получить за них. Нет-с, я поеду, буду смеяться над собой, негодовать на себя, но поеду и стану деятельно хлопотать о выгодной покупке имения... Мне иначе нельзя...

На другой день он заехал на пять минут к Здыбаевским и сказал, что едет по какому-то министерскому поручению. Вечером он уехал на вокзал, прихватив с собой Ивана Иваныча; я провожал их, и когда вошел в вагон, то, к удивлению моему, нашел там Паршикова и Мусина, которые занимали свои места в купе солидно и с достоинством. Они привстали и раскланялись чинно и без смущения. Очевидно, они ехали тоже по поручению его превосходительства.

Пожимая мне на прощанье руку, Николай Алексеевич сказал:

— Знаете ли, я много думал и решил: сделаю это дело его превосходительству и скажу: до свидания!

Сказал он это тоном глубокого убеждения, но я все-таки не поверил. Ведь сказать «до свидания» гораздо удобнее было теперь, когда

был для этого такой хороший повод.

Я побывал у Здыбаевских. Федор Михайлович отвел меня в сторону и спросил:

— Это министерское поручение ведь миф, не правда ли? А в сущности нашего невинного младенца послали торговаться?

— Почему вы знаете? — невольно вырвалось у меня, и таким образом я, может быть, выдал тайну Погонкииа.

— Знаю. Это он по своей наивности думает, что носит в груди тайну, а в министерстве вся канцелярия знает, куда и зачем его командировали.

— Не может быть! Кто же рассказал?

— Кто? Да прежде всего сам его патрон. Это особого рода невинное генеральское хвостовство. Дескать, вот как я с секретарем обращаюсь... Что хочу, то и сделаю с ним... Ах, Николай Алексеевич, как он мало себя ценит и уважает!.. Вы не можете себе представить, как я был взбешен, когда узнал эту историю!.. Я даже своим не сказал, и вы не говорите. Только Антон Петрович знает...

Я распустил свою канцелярию на отдых, и все наши статистики, не исключая и меня, за-

валились на три дня спать. Ведь в последние дни, поспешая к открытию комиссии, мы почти не смыкали глаз. Через пять дней вернулся Николай Алексеевич с своей свитой.

Он прямо с вокзала поехал к его превосходительству; благодаря этому обстоятельству первые путевые сведения я получил от Ивана Иваныча.

— Ну и ловок же наш Николай Алексеевич! Прямо даже не ожидал! — восклицал он конфиденциальным тоном, когда мы оказались одни в кабинете. — Так дело обделал, что самому настоящему адвокату впору!..

— Купили?

— Как же! За четыреста семьдесят пять тысяч! А имение стоит целых восемьсот! И все он, все он! Просто чудеса! Как старался! Слово для себя самого!.. А скупердяга какой! Тут своими собственными швыряет, а там каждую копейку считал. Обо всем, говорит, отчет потребуется. Поверите ли, ни разу даже покушать хорошенько не удалось; нас троих — меня, Мусина и Паршикова — в одном паскудном номере держал! Вот уж не понимаю. Сказать бы — свои деньги, а то чужие, да еще та-

кого богача...

Николай Алексеевич приехал от своего патрона необычайно оживленный и довольный. Он весело рассказывал равные путевые эпизоды, но о подробностях покупки имения да и о самой покупке умалчивал.

— Его превосходительство очень, очень доволен!.. Представьте себе, не успел я войти к нему, как он: «Поздравляю вас с производством!» Понимаете? В следующий чин! Так быстро! Ведь я в прошлом году только произведен... Вот что значит секретарство!.. Да-с...

Он самым искренним образом тешился этой радостью и, казалось, лучшей награды за свой подвиг по желал.

— Он чрезвычайно доволен. Имение действительно роскошное и куплено за грош!.. Паршикову и Мусину выдается по пятисот рублей, Ивану Иванычу триста... Я получил право расширить квартиру на счет смежной... Сделаю себе большой зал и поставлю там рояль... Позову Здыбаевских, и пойдет у меня музыка... Всю нашу статистическую канцелярию на радостях велено оставить, и даже можно еще пригласить... Одним сло-

вом — результат блестящий!..

Он, как ребенок, одинаково упивался и повышением в чине, и постановкой рояля в предполагаемом зале, и тем, что у него будет музыка. Хотел я напомнить ему о намерении, по окончании дела с покупкой имения, бросить секретарство, но решил, что это будет бесполезно. Его настроение ясно доказывало, что об этом не может быть и речи.

— Ну-с, теперь займемся нашим отчетом... Надо, чтобы он вышел потрясающим, подавляющим... Что бы такое придумать еще? а? Что-нибудь такое, что никому больше не могло бы прийти в голову?! Какое-нибудь приложение, дополнение... Как вы думаете?..

— Можно! — сказал я. — Очень эффектная штука...

— Ну? Что же это?

— А вот что: те самые сведения, которые мы даем в ведомостях, изобразить графически!..

— Графически? Это что же означает в данном случае?

— Это значит наглядно, при помощи чертежей... Можно пустить в красках, если вам

не жаль денег.

— А в самом деле! Я понял, понял — это идея! Это, знаете, может прямо в лоск положить членов комиссии... Раскрывают отчет — и вдруг такая штука... Все как на ладони!.. Великолепно! А вы и это умеете?

— Почему же нет?

— Ну, знаете, вы... вы действительно гений приспособляемости!.. Уж вы меня извините, а я не могу вам платить сто рублей, отныне вам даю двести... Уж извините.

— Охотно извиню вам это. Только я могу лишь вчерне, а беловая работа должна быть исполнена мастером своего дела.

— Послушайте! Вот идея! Мы пригласим Сереженьку Здыбаевского! Он отлично умеет чертить!.. Ведь ему делать нечего, и отчего не заработать карманных денег! Великолепно! Приступим!.. А его превосходительство как приятно будет поражен, когда мы ему преподнесем эту штуку! Bravo, ей-ей, bravo!..

Сереженька охотно согласился, так как его артистические занятия оставляли ему достаточно свободного времени. Этот живой, веселый юноша сразу установил в нашей канце-

лярии юмористический тон. Консерваторский ученик Спицын обрадовался ему, как находке, зато серьезная барышня окончательно сдвинула брови и приобрела вид оскорбленной женщины. Вследствие этого и Рапидов начал дуться, и эти два обстоятельства стесняли нас.

— Слушайте, Николай Алексеевич, — сказал однажды Сережа, когда мы были втроем в кабинете, — нельзя ли ее, эту строгую особу, взять на полную пенсию?

— Каким образом?

— Да так, чтобы платить ей жалованье, а она сидела бы дома!

— Она на это не согласится, обидится... А вот что я могу для вас сделать. Я предложу ей заняться приведением в порядок моей библиотеки. Пусть себе роется в шкапах.

— И вы обрекаете себя на подвиг совместного пребывания с нею?

— Нет, боже сохрани!.. Я ей предоставлю те два шкапа, что у меня в гостиной.

Барышня охотно согласилась. Она нашла, что это интеллигентное занятие к ней больше подходит. В нашей канцелярии полились

шутки, остроты, анекдоты, не всегда целомудренные, и неподдельный смех. Рапидов совсем переменялся, перестал дуться и сделался милым статистиком.

В то время, как мы с Сереженькой деятельно чертили графические изображения статистических величин, Николай Алексеевич с увлечением занимался расширением своей квартиры, насколько позволяли ему многочисленные секретарские обязанности и служба. Работа шла быстро. В какие-нибудь две недели квартиры были уже соединены, образовался зал, действительно большой и высокий, оклеивались обоями стены.

Пришел Антон Петрович, поохотал над нашими рисунками, назвал их «до дерзости смелым шагом» и, побывав в новом зале, сказал нам тихонько:

— Готов держать пари, что он замышляет жениться! помяните мое слово!

Николай Алексеевич вечно говорил о своем зале, о предполагаемой отделке его, обстановке. Он тешился этим, как ребенок куклой, и забывал в это время о статистике и о своем секретарстве. Мы заметили, что даже вид у

него сделался лучше — ясный и здоровый. Мы завтракали все вместе. В большой столовой накрывался длинный стол, ставилось вино и закуски. Среди этих закусок важную роль играла лосина — результат недавней охоты его превосходительства, — которую мы ели уже три недели и которая нам смертельно надоела. Но Николай Алексеевич всякий раз торжественно рекомендовал нам ее как замечательное блюдо и прибавлял:

— Это мне преподнес его превосходительство в знак своего расположения!

Эту фразу он произносил с иронией, но видно было, что он очень ценил этот знак расположения его превосходительства.

Прошло около пяти недель с того времени, как было отменено заседание комиссии. Мы наделали кучу новых ведомостей и такую же кучу графических изображений. Отделка зала была окончена, и рабочие ушли. Николай Алексеевич сиял от восторга и уже поручил Сереженьке, как музыканту, выбрать ему рояль у Беккера. Но тут произошло одно обстоятельство, которое поставило меня в тупик.

VII

Я пришел вместе с Рапидовым в одиннадцать часов. Медицинский студент и ветеринар были уже в канцелярии, а барышня вошла около книжного шкапа в гостиной. Минут через десять пришел консерватор, начал шутить, и все смеялись. Недоставало только Сереженьки. Он не пришел и в двенадцать часов. Это меня удивило. Когда к нам забежал Иван Иваныч, я спросил у него:

— Сергей Федорыч не приходил еще?

— Не приходил! — ответил тот необычайно мрачным и даже почти сердитым голосом. Тут я обратил внимание на его внешний вид. Волосы у него были растрепаны, лицо помятое, глаза красные.

— А есть кто-нибудь у Николая Алексеевича?

— Никого нет! — таким же решительным тоном ответил он мне, взял какую-то бумажку и исчез.

«Тут что-то есть, — подумал я, — Иван Иваныч — верное отражение Николая Алексеевича». Я зашел в кабинет.

Николай Алексеевич сидел в своем дубовом кресле и, облокотившись обоими локтями на стол, по-видимому, был углублен в работу. Я нечаянно стукнул дверью, и вдруг он поднял голову и подскочил на месте.

— Ах! — нервным голосом произнес он, весь вздрогнув, как человек, внезапно разбуженный по первому сну, Лицо у него было синевато-желтое и злое. Глаза как-то уменьшились и ушли в глубь орбит. Лоб был обвязан мокрым полотенцем, и в комнате пахло уксусом. — Точно нельзя не стучать!..

— Извините, — сказал я, совершенно подавленный этим необъяснимым приемом, — Вы не знаете, отчего это до сих пор нет Сереженьки?

Он опять вздрогнул, и рот его скопился в неприятную мину.

— Почему я могу знать побуждения Сергея Федорыча? — злобно произнес он.

Производство Сереженьки в Сергея Федорыча было для меня обстоятельством еще более значительным, чем тон речи и цвет лица Николая Алексеевича. Я сейчас же понял, что в сфере его отношений к Здыбаевским что-то

произошло и что Сереженька больше сюда не придет.

Я взглянул на Николая Алексеевича. Он опять твердо облокотился на стол обеими руками и, уложив голову на ладони, весь ушел в лежавшую перед ним бумагу. Я понял это так, что мне надо уходить, и направился к двери.

Но в тот момент, когда я взялся за ручку двери, меня поразил и даже испугал странный звук — словно что-то довольно громоздкое со всего размаха полетело в угол. Я оглянулся и увидел, что толстое «дело», сию минуту лежавшее перед Погонкиным, действительно лежало уже в углу и как-то жалостно корчилось, точно и в самом деле было ушиблено; сам же Николай Алексеевич откинулся на спинку кресла, сильно закинул голову назад, крепко зажмурил глаза и прижал правую руку к сердцу.

— Что с вами? — осторожно спросил я, подойдя к столу.

Он раскрыл глаза и выпрямился.

— Ничего... Чепуха какая-то!.. Чепуха, чепуха и чепуха!.. Зачем и почему и для какой великой цели — неизвестно, совершенно

неизвестно!.. А главное — сердце болит, сердце, Владимир Сергеич, не выдуманное, а настоящее, физиологическое сердце!.. Да-е!.. И я умру от сердца! Вот увидите! Оно лопнет, оно должно лопнуть, оно непременно, непременно лопнет!..

— Что за пессимистическое настроение!

— Нет, вовсе не пессимистическое и не настроение, а факты, таковы факты! — Он встал и начал ходить по комнате. — Что же в самом деле приятного в жизни? Что в ней такого, что могло бы меня особенно привязать к ней? Ничего-с! Умственная жизнь? Она доступна только богачам, а у таких людей, как я, вся жизнь идет на добывание средств. Женщины? Пускай они морочат голову кому хотят, только не мне... Я не из тех, что способны убивать время на созерцание их прекрасных, но лицемерных глаз...

— Вы еще вчера были другого мнения о женщинах, или, по крайней мере, об одной из них...

— Не знаю-с... Не думаю-с! — с едкой экспрессией перебил он меня. Он перестал ходить, сел на диван и опять приложил руку к

сердцу. Я посоветовал ему позвать доктора.

— Ха!.. Удивляюсь! Какой доктор может вылечить меня от моей жизни, от моих обстоятельств?

— Вы сами навязали себе эти обстоятельства. Вы могли бы обойтись без них...

— Очень может быть... У всякого свое мнение, и каждый имеет право свободно высказывать его и жить по нем. Я это и делаю...

Разговор в таком тоне не доставлял мне удовольствия, и я воспользовался первым поводом уйти, оставив Николая Алексеевича с рукой, приложенной к сердцу, и о закрытыми глазами.

Сереженька не пришел. Вечером я был у них. Я нашел всех в угнетенном настроении. Молодой человек валялся на диване в своей комнате, в которой было почти темно.

— Отчего вы не велите зажечь лампу? — спросил я.

— Не стоит! — мрачно ответил Сереженька.

— А почему вы не пришли сегодня к Погонкину?

— По весьма дурацкой причине.

— А именно?

— А именно — не скажу, ибо не уверен, что это не тайна. Нынче у нас что ни шаг, то тайна. Подите к папочке, он вам расскажет.

Сергей Федорыч, кажется, первый раз в жизни был в таком настроении. Обыкновенно он бывал весел, добродушен, остроумен и смешлив, никогда не злился и не дулся. Я прошел в кабинет. Старик Здыбаевский сидел за письменным столом и с сосредоточенным видом медленно разрезал и перелистывал страницы «Русской старины».

— А! Садитесь, голубчик, садитесь... Что нового?

— Новое-то у вас, — заметил я, — Николай Алексеевич в небывалом настроении, у вас здесь какое-то мрачное затишье, и мне кажется, что между тем и другим есть тесная связь...

— К сожалению, есть!.. Да, представьте, голубчик, есть... — промолвил Федор Михайлович, отодвигая от себя книгу. — Ужасно мне это больно, — продолжал он, помолчав, — но, право же, я тут ни при чем и поправить дела не могу... Не могу!..

Он опять помолчал. По-видимому, ему было не легко изложить самое дело.

— Николай Алексеевич человек хороший, — снова заговорил старик, — я уважаю его. Умный, сердечный... Но это проклятое секретарство сводит всего его на нуль. Ну, а все-таки я его уважаю, да и мои тоже уважают его — и Сергей, и Лиза. Но одного этого мало, нужно кое-что другое. Он как-то это внезапно, неожиданно вдруг налетел и сделал Лизе предложение, а она отказала... Вот и все. Я, разумеется, ничего не могу поделать. Но вы не поверите, как мне горько... А что, скажите, как он?

Я не сразу ответил. Новость, которую я узнал, собственно говоря, для меня не была неожиданностью; я подозревал, я почти знал это. И тем не менее она меня решительно поразила — до такой степени это мало шло к Николаю Алексеевичу.

— Он? Он очень изменился. Осунулся, позеленел, обвязал голову мокрым полотенцем, жалуется на сердечную боль, — наконец ответил я.

— Да, у него сердце ненадежное... Жаль

мне этого человека, ужасно жаль!.. Он изуродовал свои нервы и свою жизнь. А за что и ради чего? Ведь этот его патрон помыкает им, как пешкой, заставляет его унижаться до гадостей, вроде покупки имения при посредстве подставных лиц... Очень все это печально! И знаете, ведь все это может кончиться черт знает чем. Мне достоверно известно... ну, или почти достоверно, что особа эта стоит теперь непрочно, положение ее поколеблено... Вы представьте, что он слетит, — куда денется вся эта каторжная служба Николая Алексеевича? Ведь его затрут, мусором засыплют... Ах, ах, ах!..

За чаем я видел Лизавету Федоровну. Она была бледна в молчалива. Разговор ни разу не коснулся щекотливого предмета, вертелся на каком-то концерте и шел вяло. После чаю Сергей вышел со мной на улицу. Он сказал, что ему дома скучно и не по себе.

— Я не понимаю Лизу. Какого ей еще мужа надо? — с досадой говорил он мне. — Человек симпатичный, обеспеченный, с хорошим положением в будущем. Чем не муж?

— Не любит, что поделаете!

— Еще бы! Мал ростом, одутловат, не умеет любезничать и говорить гражданских фраз... Одним словом, не герой! А его-то это совсем скрутило. Я видел, как он выходил от нас. Совершенно точно его прищемили с трех сторон... Бедняга Николай Алексеевич!

На другой день утром, едва я взял в руки газету, как должен был вскочить и налетел на моего сожителя Рапидова.

— Нет, ты прочитай, прочитай, пожалуйста-ста! Комиссия — это наша-то комиссия, для которой мы писали, чертили — закрывает свои действия!.. А вот это-то еще лучше: его превосходительство, наш-то его превосходительство, могущественный покровитель Николая Алексеевича — в отставку по прошению! Каково? Что же теперь будет с Николаем Алексеевичем?

Рапидов, как человек, мало посвященный в суть дела и не успевший сблизиться с Погонкиным, не мог достаточно глубоко прочувствовать это известие. Я побежал к Антону Петровичу.

— Да, представьте! Я сам поражен! Нечего и говорить, что вся ваша статистика, со всеми

выкладками и чертежами, к черту пошла! Но в этом, я полагаю, нет большой беды, ибо она достигла своей цели, прокормив в течение многих недель добрую компанию хороших людей. Но Николай Алексеевич — это другое дело! Два удара сразу!

Мы отправились к Здыбаевским. Федор Михайлович только что отпил чай и ходил по своему кабинету в жестоком волнении.

— Совпадение проклятое! — восклицал он. — Чего доброго, он подумает, что ему и отказали-то неспроста. Дескать, нам уже было известно про его падение — вот мы и разочли, что он перестал быть выгодным женихом, и отказали... Понимаете? При одной мысли, что он может таким образом подумать, меня бросает в лихорадку!.. Знаете что, господа? Поедемте сейчас к нему, выразим ему сочувствие, поддержим его, ободрим!.. Ведь, собственно говоря, это для него счастье. Он еще молод, может работать и до чего-нибудь доработается. Это избавляет его от кабалы. Поедемте, господа!

Мы взяли экипаж и поехали вчетвером, прихватив Сергея. Увидев издали коричне-

вый дом его превосходительства, где обитал Николай Алексеевич, мы почему-то все вдруг впали в уныние. У всех явилось предчувствие чего-то необычайно грустного и тяжелого.

— Фу-ты, какой скверный день! как отвратительно начат! — сердито ворчал Федор Михайлович. — Кажется, у меня крепкие нервы, а так и ходят ходуном! На душе такая гадость, точно обокрал кого-нибудь!

Мы молчали, чувствуя то же самое.

Экипаж остановился у железных ворот коричневого дома. В обширном дворе какие-то неизвестные люди медленно сновали из одного конца в другой, по-видимому, без всякого дела и заглядывали в окна квартир первого этажа. Во второй подворотне появились силуэты Мусина и Паршикова и в тот же миг исчезли, как тени.

Поднимаясь по лестнице, мы встретили пожилого господина в сером пальто, из-под которого виднелся синий фрак, а потом даму в черном. Оба они спускались медленно и задумчиво. Наконец мы позвонили. Очень скоро вышел Иван Иваныч и открыл перед нами дверь, которая оказалась отпертой. Лицо его

было бледно и хмуро. Без сомнения, это происходило оттого, что и он, в качестве необходимого придатка, летел вниз вместе с его превосходительством и Погонкиным. Он тоже, как и спускавшаяся по лестнице дама, был весь в черном.

— Пожалуйте, господа! — промолвил он хриплым, усталым голосом.

— Николай Алексеевич дома? — спросил его Антон Петрович.

— Николай Алексеич? Да-с... Николай Алексеич... Они... Да они ведь скончались!..

— Что такое?!

— Скончались в эту ночь... Да-с!.. Внезапно... Позвали их по телефону его превосходительство... Побыли там один час, а оттуда приехали бледные, расстроенные... Стали раздеваться, да вдруг пошатнулись, крикнули и упали... Сердце, значит, разорвалось... Так и доктор сказал... Пожалуйте, господа!

Но мы не двигались с места, чувствуя себя таким образом, будто в нас неожиданно выпустили залп картечи. Это невозможно, это походило на сказку, на сон! Можно было ожидать всего, чего угодно, но не этого же, в са-

мом деле, потому что это было слишком.

— Пожалуйте, господа! — твердил нам Иван Иванович, и мы бессознательно шли за ним, прошли коридор, столовую и очутились в обширном зале, том самом, который Николай Алексеевич с такой любовью отделявал, очевидно, уже и тогда лелея мечту о семейном счастье. Да, это была правда! Он лежал тут, на длинном столе, и около него были все признаки того, что он был покойник: парча, восковые свечи, две родственницы, запах ладана, смешанный с запахом трупа...

Николай Алексеевич умер — это было очевидно до последней степени. Он лежал с сложенными на груди руками, вытянувшись, и казался как бы немного длиннее самого себя. Лицо его было совершенно желтое, на губах застыло выражение страшной муки, которую он испытал в момент смерти.

Мы стояли, потупившись и позабыв даже перекреститься. Одна из внезапно отыскавшихся родственниц всхлипывала, очевидно, неискренно, и терла платком совершенно сухие красные глаза. Дьякон громко читал Псалтырь. Федор Михайлович долго крепил-

ся, но не выдержал и заморгал веками, из-под которых полились слезы. Сереженька тоже плакал, да и я почувствовал, что глаза мои горячи и влажны. Один только Антон Петрович выдержал характер и стоял твердо, изо всех сил стараясь придать своему лицу каменное выражение.

На другой день Николая Алексеевича Погонкина свезли на Волково кладбище. Похороны были чрезвычайно приличные; было немало знакомых, сочувствующих, и много карет. Мы шли все вместе, сгруппировавшись вокруг Здыбаевских. Лизавета Федоровна была бледна и как-то подавлена. Тут были налицо все статистики: Рапидов, ветеринар, консерватор, медик и барышня. Мусин и Паршинов шли приподняв воротники и потупив взоры. Иван Иваныч руководил похоронами. На дворе стоял мартовский день, теплый и сыроватый.

— Одно только мне неясно в судьбе этого человека, — сдержанным и слегка взволнованным басом говорил мне Антон Петрович, который шел рядом со мной. — Что по преимуществу сразило его: отказ ли любимой де-

вушки или крушение его превосходитель-
ства?.. Как вы думаете? Я не ответил, потому
что для меня это было тоже неясно.

КОММЕНТАРИИ

При отборе произведений для настоящего издания в него прежде всего были включены произведения, в той или иной степени одобренные А. П. Чеховым. Публикуются также рассказы, небольшие повести, сатирические миниатюры, которые хотя и не получили чеховских отзывов, но являются вещами характерными для творчества автора, запечатлевшими быт и нравы эпохи. Из-за ограниченного объема сборника пришлось отказаться от включения многих вполне заслуживающих того произведений, как, например, от талантливых романов М. И. Альбова «Ряса», И. Н. Потапенко «Не герой» и др.

Отбор произведений потребовал просмотра множества отдельных изданий, собраний сочинений, комплектов газет и журналов. Неизученность творчества большинства включенных в двухтомник писателей составила особую сложность для установления первой публикации отдельных произведений. В связи с этим в комментариях указываются в основном только те источники, по ко-

торым печатаются тексты. Тексты печатаются по последнему прижизненному изданию.

Краткие справки о писателях содержат сведения об их жизненном и творческом пути, оценки современной им критики, а также информацию относительно их связей с А. П. Чеховым.

И. Н. ПОТАПЕНКО

Игнатий Николаевич Потапенко родился в 1856 году в селе Федоровна Херсонской губернии. Сын принявшего священнический сан уланского офицера и крестьянки, он учился в бурсе. Затем слушал лекции в Новороссийском и Петербургском университетах, занимался в Петербургской консерватории, которую закончил по классу пения. С 1873 года Потапенко стал выступать в периодической печати с рассказами, очерками, по преимуществу рисовавшими хорошо знакомую ему среду сельского духовенства, быт городков и местечек южных губерний Российской империи. В 80-е годы его рассказы о жизни украинского крестьянства публиковались в демократическом журнале «Дело». Широкую известность принесла Потапенко повесть «На дей-

ствительной службе», опубликованная в журнале «Русская мысль» в 1890 году. В этом произведении, как и в появившемся в 1891 году романе «Не герой», сделана попытка утвердить идеалы получившей распространение в 80-е годы либерально-народнической теории «малых дел». Вместе с тем в творчестве писателя было очевидно стремление нарисовать обширную, не лишенную сатирических красок картину общественных нравов 80-90-х годов XIX века (в романе «Не герой», в повестях «Здравые понятия» (1890), «Секретарь его превосходительства», «Семейная история» (1893) и др.).

Потапенко был известен и как драматург. На сценах столичных театров шли его пьесы «Жизнь», «Волшебная сказка», «Лишенный прав», «Чужие», «Выдержанный стиль» и др. В разные годы Потапенко активно сотрудничал в газетах «Россия», «Новое время», «Русь», на страницах которых выступал с фельетонами, театральными и литературными рецензиями.

Несмотря на некоторую расплывчатость убеждений, Потапенко умел быть принципи-

альным в некую ответственную минуту. А. М. Горький искренне удивился, когда на премьере его «Дачников» Потапенко заявил осудившим пьесу представителям «Мира искусства»: «Только в России возможна такая гнусность, господа... только в России возможно... шикать человеку, каждое слово которого — правда, правда! Стыдитесь!» [10]. Удивление Горького понятно; ведь в «Дачниках» острейшей критике подвергались интеллигентные мещане, те самые «не герои», о которых с сочувствием писал Потапенко.

Из литературного окружения Чехова в 90-е годы Потапенко — наиболее близкий к нему. Они познакомились в Одессе в 1889 году. Настоящее сближение началось через четыре года в Москве и переросло в достаточно тесные дружеские отношения. Потапенко написал в 1914 году воспоминания «Несколько лет с А. П. Чеховым. К 10-летию со дня его кончины», которые говорят об их авторе как о проницательном психологе, понимавшем, что судьба свела его с истинным художником: «...он творил всегда и даже в непосредственное соприкосновение с жизнью и с

людьми вступал как-то особенно, по-своему, творчески...» [11] Несомненно человеческий и творческий интерес и Чехова к Потапенко. Об этом свидетельствуют чеховские письма к А. С. Суворину. 7 августа 1893 года: «Мне с ним было очень нескучно, независимо от скрипки и романсов»; 11 ноября 1893 года: «Он нравится мне все больше и больше»; 23 марта 1895 года: «Я говорил Вам, что Потапенко очень живой человек, но Вы не верили. В недрах каждого хохла скрывается много сокровищ. Мне кажется, что когда наше поколение состарится, то из всех нас Потапенко будет самым веселым и самым жизнерадостным стариком».

Не только бившая ключом энергия, несомненное знание жизни, хороший музыкальный дар привлекали Чехова в Потапенко. Он видел и уважал в нем подлинно профессионального литератора, талантливое, остроумное, наблюдательное. Именно Потапенко Чехов доверил сложную процедуру согласования текста «Чайки» с цензурой. Единственный из друзей и знакомых провожал Потапенко Чехова в Мелихово на другой день по-

сле провала «Чайки» в Александринском театре. Свидетельства дружеской близости сохранил и письма Потапенко к Чехову. В одном из них (от 25 ноября 1895 г.) подчеркнуто, «что истинную нашу духовную связь не должны разрушать никакие внешние обстоятельства» [12]. Брат Чехова Михаил Павлович вспоминал: «С Потапенко у него (Антон Павловича. — С. В.) было очень много общих литературных интересов...» [13]

Несмотря на то что читатели и критика нередко ставили имена обоих писателей рядом, сам Потапенко понимал, какова дистанция между ним и Чеховым. 19 мая 1895 года он писал Чехову: «Пишу разом бесконечное число повестей и романов... „Вы, нынешние, ну-тка!“ Нет, Чехов, далеко тебе до Потапенко, так же далеко, как Потапенко до Мачтета! Ну, будь здоров, счастливый одиночка, предмет моей неиссякаемой зависти!» [14] «Счастливый одиночка» — в этом определении и восхищение Чеховым, его принципиальностью, его умением ценить и уважать в себе художника. И вместе с тем это приговор самому себе, не устоявшему, разменявшему свой та-

лант в погоне за «злойбой дня». «Умный и остроумный наблюдатель жизни» (так охарактеризовал писателя критик Ф. Д. Батюшков [15]), Потапенко спешил, как будто жить ему оставалось считанные годы. А меж тем, будучи старше Чехова на четыре года, Потапенко пережил его на целую четверть века. Стремление оправдать звание модного беллетриста, соединенное с извечной мыслью русского литератора о хлебе насущном, вело к спешке, излишней плодовитости, к неумению уважать свой талант. И произведения Потапенко, хотя и чутко реагируя на злобу дня, сбивались на тезис, декларацию или описательность, утрачивая образную емкость и выразительность формы.

Однако и у Потапенко есть рассказы, повести, очерки, правдиво запечатлевшие мир южнороссийского крестьянского быта, жизни сельского духовенства, мещанских нравов, чиновничьей психологии, беспросветного существования городских низов.

В годы Советской власти Потапенко опубликовал пьесу «Ряса» (Вологда, 1922), в которой показал корыстолюбие и ограниченность

православного духовенства. Были также выпущены его книги: «Честная компания» (М.-Л., 1926), «История одной «коммуны» (Л., 1928), «Мертвое море» (Л., 1929) и др.

Умер писатель в 1929 году в Ленинграде.

1890 [16]

Примечания

между нами (фр.).

[^^^]

2

Цитата из либретто М. Н. Загоскина к опере А. Н. Верстовского «Аскольдова могила» (1835).

[^^^]

Патти Аделина (1843–1919) — итальянская певица, сопрано. В 1869–1877 гг. гастролировала в Петербурге.

[^^^]

4

«Риголетто» (1851) — опера Дж. Верди.

[^^^]

5

и протее, и так далее (лат.).

[^^^]

6

Гласный — лицо, избранное в городскую думу

[^^^]

На Выборгской стороне в Петербурге находилась Военно-медицинская академия, на Васильевском острове — Академия художеств.

[^^^]

Эраст Генрих (1814–1865) — немецкий скрипач и композитор. Выступал в России в 1847 г.
Бенявский Генрик (1835–1880) — польский скрипач и композитор. Был придворным солистом в Петербурге, профессором Петербургской консерватории.

[^^^]

Поппер Давид (1843–1913) — чешский виолончелист и композитор.

[^^^]

М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 28. М., Гослитиздат, 1954, с. 334.

[^^^]

«А. И. Чехов в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1960, с. 308–309.

[^^^]

«Чеховские чтения в Ялте. Чехов и русская литература». М., 1978, с. 97.

[^^^]

М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Е. М. Чехова. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1981, с. 163.

[^^^]

«Чеховские чтения в Ялте. Чехов и русская литература», С 102.

[^^^]

Ф. Д. Батюшков, Критические очерки и заметки. СПб., 1900, с. 136.

[^^^]

Рассказ опубликован в журнале «Вестник Европы» (1890, № 9). Печатается по изданию; И. Н. Потапенко. Соч., т. 4, СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1903.

[^^^]